Ирина Садурова



Королевство алых башен

На добру
[illegible] Оксанка
[illegible]

Тамаре от Юрия
Павлюченко в память
встречи в Инсальтитате.
19/IV 1950 г.

Ирина САБУРОВА

КОРОЛЕВСТВО АЛЫХ БАШЕН

1947

КОРОЛЕВСТВО АЛЫХ БАШЕН

В королевстве Алых Башен жили рыцари и маги, и на самой древней башне — старый, мудрый Звездочет: он скрипел пером гусиным по пергаментной бумаге и записывал, что было и что будет каждый год. За стеной из алой яшмы поднимался гордый замок, по углам — четыре башни: Север, Запад, Юг, Восток. Башни были из рубинов, кимофанов и гранатов, альмандиновые окна, в каждой башне — огонек . . .

Сам король жил в старом замке и не правил королевством: да и этою страною управлять — излишний труд. Ею правил маг-волшебник, Звездочет на древней башне, и ему помощник верный был веселый старый Шут. А Принцесса в третьей башне из нежнейших алых шерлов пряла пряжу из тончайших серебристых облаков; и была она прекрасна, как Принцесса в старых сказках, только в сказках, для которых не найдется даже слов . . .

В этом странном королевстве никогда не гасло солнце, никогда не меркли звезды, никогда не лилась кровь: там жила в последней башне золотая чудо-птица, птица с крыльями, как пламя, с странным именем — Любовь . . .

Птица в башне пела песни: и они неслись далеко, очаровывая души, покоряя все сердца; в королевстве Алых Башен никогда не лились слезы, в королевстве Алых Башен было счастье без конца.

* * *

Ах, какое это было чудесное королевство!

Я, впрочем, совсем другого мнения о нем: извольте радоваться! — тащить огромную тяжелую картонку, в которую

запакована какая-то удивительная елочная игрушка, выписанная генералом для своей племянницы из Парижа! И вместо того, чтобы ехать в отпуск, прямо домой, заезжать еще в чужую усадьбу, специально для того, чтобы передать ей этот подарок!

Эта огромная картонная тютя теперь торжественно красовалась на столе в гостиной. Я сперва, конечно, не обратил на нее никакого внимания и только с тоской поглядывал на часы в столовой, пока генерал угощал меня удивительным коньяком.

Наконец, генерал, крякнув, разгладил усы и заметил:

— Так, так, корнет. Получили первое боевое крещение, да-с Три недели в лазарете? Владимир с мечами и с бантом? .. Поздравляю, поздравляю. Навылет? Это пустяки. У меня вот в Турецкую кампанию . . . ну, да об этом я вам как-нибудь расскажу при случае, а пока вот маленькая просьба. Вы теперь на побывку домой? Не терпится, небось? Как же, святки, сам знаю. Так вот, по дороге, вам ведь недалеко — заверните в усадьбу моей сестры. Я уже писал им, чтобы лошадей выслали . . . Там, кстати, и Сочельник проведете и внучатную мою племянницу, Эльфочку, обрадуете. Свезите ей от старого дяди. Думаю, что угодил. Она у нас такая . . . воздушная, потому и Эльфочкой зовем, а настоящее то имя Людмила . . .

Генерал поднялся и, тяжело опираясь на палку, захромал в гостиную, где стояло картонное чудище.

Благодарю покорно! Если я успею еще захватить поезд, то все равно с этим «заездом по дороге« никак не попаду к Сочельнику домой. Правда, наше имение не очень далеко, но все-таки; а мама так просила меня встретить с ней Сочельник! Шутка ли сказать — целый год войны, как не видались . . .

Но не исполнить этой «просьбы» было невозможно, и я, проклиная и генерала, и ни в чем неповинную «Эльфочку», уселся вечером в вагон с огромной коробкой.

А вышло так, что я до сих пор иногда вспоминаю этот Сочельник, может быть, потому еще, что это было последнее, настоящее Рождество.

Вороные рысаки, ждавшие меня на маленькой белой станции, удобные теплые сани, с коврами и подушками. Несколько верст по гладкой, заснеженной дороге. Аллея оголен-

ных кленов, целая свора огромных, злобных догов, и старый, уютный дом, с колоннами, как и полагается, весь в кустах сирени, должно быть, теперь совсем закутанный снегом.

Маленькая, глухая усадебка, и дом теплый, уютный, с переходами, неожиданными каморками, ступеньками, весь еще полный озабоченной предпраздничной суетней. Пахло елкой, мятными пряниками, сдобными булками, и еще чем-то неуловимым, чем пахнут засохшие лепестки роз в старых комодах.

В доме было только две женщины: седая, представительная старуха и ее внучка — Эльфочка. Действительно, воздушная, как сказал генерал. Совсем еще подросток, тоненькая, хрупкая, с детскими плечиками, первый раз, наверно, надевшая праздничное шелковое «взрослое» платье, все в кружевах и воланах. На вид ей было не больше четырнадцати лет, но она старалась держаться, как взрослая.

Я приехал как раз во время — только что собирались зажигать елку. Конечно, о том, чтобы ехать сейчас обратно, не могло быть и речи, да и все равно пришлось бы до следующего утра ждать на станции. А в этом доме даже совершенно чужого человека сразу охватывала такая атмосфера уюта и тепла, что я сразу почувствовал себя как дома, и с увлечением стал помогать Эльфочке вешать на елку последние стекляшки и пряники.

Огромную белую картонку поставили под елку.

— Вы не знаете, что в ней такое? — спросила Эльфочка, лукаво прищуриваясь.

— Королевство, принцесса!

В дверях появилась бабушка.

— Ну, а теперь, дети, уходите, я сама зажгу елку, и потом вас позову, — заявила она.

Я не успел даже обидеться на это «дети». Позвольте, мне двадцать лет, я уже ранен и . . . Но Эльфочка схватила меня за руку и потащила куда-то по лестнице вниз, в столовую. На столе, украшенном маленькой елочкой, стояла кутья и узвар, а при виде осетрины я невольно вспомнил, что ужасно голоден, но Эльфочка указала мне какой-то пирог, стоявший посередине стола, и таинственно прошептала:

— Это «королевский пирог» — вы знаете, что это такое?

Нет, я не знал.

— Старинный французский обычай, — пояснила она. У нас была одна француженка в роду, так вот с тех пор и осталось . . . В Сочельник печется пирог, и в него запекается золотой, а потом пирог разрезается на столько кусков, сколько людей в доме, и еще один оставляется для случайного гостя, или для нищего. У кого окажется золотой, тот объявляется королем, выбирает себе королеву. Они надевают короны, садятся рядом за стол, и все должны исполнять в этот вечер все их желания . . . В прошлом году королем оказался кучер Иван, — тот самый, который вез вас со станции . . . Мы его еле-еле усадили за стол, и я была выбрана королевой . . . и ужасно радовалась, но я была тогда маленькая . . .

— А сколько вам теперь лет, Эльфочка?

Она презрительно посмотрела на меня и пожала плечиками:

— Дамам не задают таких вопросов, корнет.

* * *

Под елкой оказалось много подарков: какие-то салфеточки, вышитые Эльфочкой для бабушки, а для Эльфочки — книги, золотые часики, жемчужная нитка на шею . . .

— Теперь, конечно, ты еще не можешь ее носить, — заметила бабушка. — Но когда я повезу тебя ко двору . . .

Не забыли даже меня, случайного гостя: в красивый портсигар из слоновой кости с художественной резьбой была всунута записочка с моим именем, и я, окончательно растроганный, поцеловал бабушке руку, а Эльфочка захлопала в ладоши.

— Ну, а теперь дядин подарок!

Белая картонная тютя была вытащена на середину гостиной, и мы принялись ее разворачивать. Картон, бумага, еще бумага . . .

Ах, какое это было чудесное королевство!

Действительно, я никогда больше не видал таких художественных картонажей: старинный замок, строго выдержанный в готическом стиле, с четырьмя башнями по углам. В каждую башню вставлялся фонарик, и тогда окна из красноватой слюды бросали алые отблески на белую вату, покрывавшую стены и золоченые крыши. Получалось впечатление, будто-бы в башнях действительно живые фигурки: ста-

рый звездочет, в мантии, усыпанной звездами, — шут в колпаке с погремушками, прекрасная принцесса с прялкой и чудесная золотая птица. Все фигуры были сделаны из воска и раскрашены, а птица настоящая, вызолоченная, с крыльями, усыпанными мелкими драгоценными камнями. Она могла служить потом замечательным пресс-папье.

Отдельно же, на самом дне картонки, лежала французская книга, отпечатанная на желтой, плотной, как пергамент, бумаге, с позолоченными заставками и заглавными буквами — маленький шедевр печатного искусства — «Королевство Алых Башен».

Я заглянул через плечо Эльфочки, совсем забывшей о том, что она взрослая, и усевшейся тут же на ковре, среди обрывков бумаги, раскрыв на коленях книжку:

«В королевство Алых Башен Принц пришел однажды юный, стройный, смелый и отважный, в раззолоченных шелках; кудри — нити золотые, а глаза—как в небе звезды; меч отточен в его ножнах, и улыбка на устах.

Подойдя к старинной башне, он поднялся на ступени:

— Расскажи мне, что ты знаешь, тайну звездную открой!

Звездочет взглянул на принца, посмотрел на что-то в звездах, и в молчании суровом покачал лишь головой. Что же принцу было делать? Ко второй пошел он башне, где, сидя верхом на троне, заливался смехом Шут:

— Ваша светлость, в нашем царстве только песни и веселье,—вы пойдите к третьей башне, не задерживайтесь тут.

А принцесса в третьей башне, как мечта, была прекрасна... И, увидевши друг друга, оба поняли без слов . . . Потому, что в этом царстве все любили без сомнений, все мечтали, не тоскуя, и пленялись без оков . . .

— Почему же эта птица заперта в четвертой башне — из карбункулов-рубинов, темно-красных янтарей? Почему никто не знает и не видит этой птицы, и никто ей не раскроет в алых яхонтах дверей?

И, конечно, все случилось, предначертанное в звездах. Принц открыл у башни двери, двери, алые как кровь; и, как пламя ввысь метнулось, улетела в небо птица, золотая чудо-птица с странным именем — Любовь. . .

В королевстве Алых Башен горько плакали все люди: Шут, Принцесса, даже старый, очень мудрый Звездочет; и

тогда Принц поднял руку и поклялся, что добудет и обратно чудо-птицу в королевство принесет».

За столом, в моем куске «королевского пирога» оказался золотой, и Эльфочка торжественно надела мне на голову корону, уверяя, что она мне очень идет, а я выбрал, конечно, ее королевой, хотя сперва, чтоб подразнить, предложил корону бабушке.

Уезжал рано утром, когда все в доме спали, чтобы не опоздать на поезд. Около крыльца стояли вороные в клубах белого пара — было раннее зимнее утро, когда, как на скверных картинках, розовое небо и голубой снег. В передней, надевая шинель, услышал скрип и обернулся: с лестницы спускалась Эльфочка, запахивая на ходу шелковый, подбитый лебяжьим пухом халатик.

— Прощайте, — смущенно прошептала она, — я . . . я хотела вас попросить — возьмите — на память — вот эту ладонку . . . знаете, на войне . . .

Она протянула мне старинную медную иконку Божьей Матери, и в глазах ее снова забегали лукавые огоньки:

— Вчера вы должны были исполнить любое мое желание, но я прошу вас сегодня, корнет.

Я взял ладонку, щелкнул шпорами, приложился к тоненькой, детской ручке, а потом, не удержавшись, рванул ее к себе и крепко поцеловал в губы.

Эльфочка ахнула, вырвалась и бросилась опрометью вверх по лестнице, оставив на пуговице моего обшлага маленький комочек зацепившегося белого пуха.

Я выскочил на крыльцо.

— Пошел!

* * *

«В королевстве Алых Башен стало сумрачно и глухо: развалился старый замок — первым умер в нем Король . . . и остались только башни, что, как прежде, возвышались над страной, теперь узнавшей, что такое страх и боль . . . Шут умолк и не смеялся; Звездочет еще стал строже; только в сердце у Принцессы слабо теплилась Мечта. А в четвертой, алой башне, где жила когда-то птица, птица, с именем чудесным, поселилась — Пустота . . .

И однажды . . . был Сочельник . . . звезды вспыхивали в

небе, все кругом покрыл, как ватой, белый искрящийся снег... В двери старой тусклой башни, где жила теперь Принцесса, постучался робко путник, попросился на ночлег. За столом уселись рядом: Шут, Принцесса, бедный путник, и совсем уже ослепший, старый, мудрый Звездочет.

— Я, — сказал он, — твердо верю: никогда не лгали звезды, и когда настанут сроки, в эту башню Принц придет . . .

— Я пришел, — ответил путник, — только — где же королевство? Не развалины же эти — башни алых янтарей? Где-ж прекрасная Принцесса? — Нет, конечно, не для этой я искал по свету птицу, всех чудесней и нежней . . . Я не видел королевства ни чудеснее, ни краше королевства Алых Башен, обойдя кругом весь свет . . . Правда, я прошел напрасно, не найдя волшебной птицы, но и здесь нет Алых Башен, и Принцессы тоже нет . . .

А Принцесса, бросив прялку, посмотрела на пришельца:

— Нет, — она сказала твердо, — ты совсем не тот . . . не тот. . . Принц был юный, светлокудрый, и глаза его, как звезды; у тебя-ж седые брови и усталый, горький рот . . .

* * *

В королевстве Алых Башен — больше нету королевства: не узнавшие друг друга не имеют права жить; и потерянную радость, и потерянное счастье, суждено, как алый камень, в сердце горестно хранить . . .»

* * *

Ах, Боже мой, Сочельник! Странный день в году, когда невольно вспоминаешь прошлое, — хорошее прошлое, конечно, настоящую жизнь. И не только это: Рождество — это детский праздник, или вернее, праздник, когда и взрослые чувствуют себя детьми.

Мама, дом, детство, блестящие елки . . . я обычно, хожу в этот вечер под чужими окнами, заглядывая в них и стараясь представить себе, что там, у елки, такие же счастливые люди, каким и я был когда-то. . . Или забиваюсь в свой угол, зажигаю на столе свечку и наливаю стакан. Один.

Приглашали знакомые. Не пошел. Заработал к Рождеству немного денег и решил закатиться с компанией в ресторан.

Там играет старый цыганский примас — скрипач Янко — старик совсем, а хорошо помнит офицеров моего полка. Да и в Добровольческой я с ним встречался ... По крайней мере, хоть старое веселье помнит, а то разве теперь умеют веселиться, ухаживать, по-настоящему любить? . .

Ну, о любви то я и сам не вспоминаю, смешно. . . Чересчур много «любимых женщин», всех этих Адочек, Верочек ... Надоели.

* * *

Пили до утра. Серпантин, воздушные шары, еще что-то ... Играл Янко, танцевала акробатические танцы какая-то балерина, тонкая, гибкая, как змея.

Я ее видел впервые: недавно приехала. Но нашлись знакомые, пригласили к столу, а потом, под утро уже, поехали к ней пить кофе. Собственно говоря, собирался я один, потому что не все ли равно — она ли, другая? ... Но за мной увязалось еще несколько.

Странное впечатление, когда выходишь на улицу, на рассвете зимнего дня. Улицы кажутся такими тихими, подметенными снегом, праздничными. Сразу чувствуется почему-то, что по ним будут ходить в этот день спокойно и радостно, потому что праздник ... В английских книжках есть такие картинки «Merry Christmas» — Веселое Рождество.

* * *

У Людмилы Лэн — так значилось в афише — две меблированных комнаты, но может быть потому, что мы, войдя, сразу бросили пальто и шубы, куда попало, они стали как-то особенно неуютными. На столе стояла маленькая елка, с приготовленными свечами.

Людмила сварила на электрическом кофейнике кофе, поставила ликер и, подойдя к столику, стала зажигать на елке свечи. Она, кажется, была трезвее всех.

— Теперь уж скоро утро, — сказал я. — Зачем вы зажигаете?

Она улыбнулась.

— А я для себя . . . Пейте, пожалуйста. Раз Рождество, значит, должна быть елка . . . — Она взяла какой-то красный фонарик, лежавший под елкой, осторожно разгладила его, выпрямила, зажгла.

Я подошел и обнял ее за плечи.

— Ну, дорогая . . . — хотел сказать, — пойдемте за стол, — и не кончил.

В руках у Людмилы Лэн была мятая, кое-где порванная, золотая башенка с алыми окнами из слюды.

— Это что у вас такое?

Она поставила башенку на подоконник.

— Старая игрушка . . . С детства еще. Мне подарили однажды на елку целый картонный замок . . . Королевство Алых Башен . . . И, как ни странно, каким-то чудом все-таки удалось сохранить одну башенку . . . Я с ней никогда не расстаюсь. В Сочельник зажигаю и ставлю на окно, — может быть, кому-нибудь и посветит этот огонек.

За столом кто-то рассмеялся и плоско сострил, Людмила на минутку прижалась лбом к стенке. Я видел сбоку ее лицо — темные круги под глазами, накрашенные губы, выбившийся пепельный локон . . . Синие глаза смотрели устало и спокойно. Они больше не удивлялись и не ждали ничего.

Да, теперь я узнал ее — тоненькую Эльфочку — из старой усадьбы, — старый дом, елка, Королевство Алых Башен и я, двадцатилетний гусарский корнет . . .

И таким же вот, рождественским утром, первый — и последний наш поцелуй в темной передней.

Я прикоснулся к рукаву, как будто ожидая найти на нем еще тот комочек лебяжьего пуха, зацепившийся за пуговицу шинели — у Эльфочки был лебяжий халатик, легкий, как снежинка . . . Сказать ей? Зачем? Разве она узнает во мне — того корнета? Да и я не узнал бы ее, если не эта башенка . . . Я прошел в другую комнату, разыскал свою шляпу, пальто и вышел на улицу. Было холодно и зябко.

В большом доме с темными окнами, на четвертом этаже, у самого подоконника виднелся слабый, алый огонек . . .

Как кончалась эта сказка?

«В королевстве Алых Башен...» так ведь нет же королевства...

Разве принц пришел обратно? «... растворилась в башне дверь...»

К чорту башню! Нет, не помню... Как сберечь нам в жизни сказку, если даже в этой сказке — горечь жизненных потерь?

1934 г. Рига.

ГОРШОЧЕК НЕЖНОСТИ

Снег падал крупными хлопьями с низко нависшего, светло-серого туманного неба. Высокие колокольни старинных церквей совершенно терялись в этом тумане, в мягком, ласковом круженье падающего снега. Он шел только потому, что был Рождественский Сочельник и нужно было убрать к празднику старый город, белой ватой лечь на крыши, четко вырезать решетки и создать всем праздничное, рождественское настроение. На мостовую снег ложился совершенно напрасно — тонкие пушистые снежинки моментально выметали метлами дворники. Но в этих бесчисленных следах, разбегающихся по всем улицам, следах от торопливых, озабоченных шагов людей, спешивших с покупками и подарками домой, в толкотне, брошенных на ходу фразах, мимолетных улыбках — было что-то, от чего сжималось сердце у одинокого человека, которому некуда было торопиться и некому было принести подарок, зажечь мигающие свечи на елке.

Человек не выходил на улицу. Он жил в маленьком закоулке кривой старой улочки, совершенно случайно уцелевшей среди нового шумного города с зеркальными витринами больших магазинов. Несколько ступенек невысокого каменного дома вели к деревянной лестнице, и если подняться по ней наверх, войти в его комнату и выглянуть в чердачное окно мансарды, то виден кусочек веселого, праздничного города. И видно, что торопятся люди с пакетами в руках. Сколько радости, сколько интересного и вкусного, наверно, в этих пакетах! Но человеку, сидящему у окна, видно тоже, что на ступеньках его крылечка лежит совсем белый, чистый снег. На нем нет никаких следов — никто не заходил сегодня в маленький старый домик. И не зайдет.

Но если есть Рождество — то, значит, должна быть сказка. И если ее нет, то ее надо выдумать. Потому что иначе нельзя. Может быть, он найдет в этой большой старой книге что-нибудь ласковое и грустное, как падающий снег? Может быть, к нему придет кто-нибудь под вечер зажечь елку — и тогда у него будет, что рассказать ему.

— Горшочек нежности, — так называется эта сказка, — а начинается она так: «У большой печи изразцы коричневые и синие. А изображена на них веселая история о том, как один озорник был подмастерьем у скрипичных дел мастера. Над печью коптится окорок и рождественская колбаса, а на решетке пекутся яблоки и орехи. Вкусные, вкусные яблоки и орехи! Зеленые стекла расписного окна запорошил снег, на подоконник улегся пушистой мягкой ватой, совсем закрыл окно. А у окна сидит девушка с прялкой. Р-р-р, р-р-р—посмотрите, как быстро бежит чуть заметная, тонкая нитка из под ее искусных пальцев. Вы не найдете лучшей пряхи в целом городе. Даже жена ювелира всегда покупает у нее полотно и кружева. Все знают белокурую девушку, дочь мастера — башмачника. И сын самого богатого торговца знает ее тоже. Он часто вслед за ней идет в церковь. А когда старик-скрипач начинает пиликать на своей скрипке, никто лучше ее не умеет кружиться в танце — с разгоревшимися щеками и летящей юбкой. Нет, бесспорно — она самая лучшая девушка по всем городе, но и он не дурак. Стоит только посмотреть на его расшитую куртку или на дом его отца. А склады товара?

Правда, товарищи не особенно любят его, и маленькая нищенка на углу всегда прижимается к стенке, когда он проходит мимо, боясь получить пинок ногой, но разве вы найдете другого такого молодца?

Утром, в рождественский сочельник, он пришел к ней. Когда же она согласится, наконец, стать его женой? Разве он не обещал ей купить серебряные украшения к праздничному чепчику и красные башмачки, которых нет даже у жены ювелира? Разве ей придется так работать в его богатом доме? Или она найдет в их городе лучшего жениха? Ведь он же любит ее, и они будут вместе счастливы.

Но все давно уже знали, что с девушкой не все в порядке. Давно еще, когда она была девочкой, в их доме жил старый чудак. Откуда он взялся — никто не знает. Сидел все время

в своей каморке, нюхал табак и писал гусиным пером в большой толстой книге . . . Согласитесь, что это далеко не почтенное занятие. Иногда он рассказывал всякие удивительные истории — но только в начале — потом уже в городе не находилось людей, готовых его слушать. Только она постоянно сидела у него. И когда он умер, то все начали замечать, что она говорит иногда самые нелепые вещи, о которых порядочные девушки не имеют никакого понятия. Девушка должна хорошо прясть или вышивать золотом и краснеть вовремя, а больше от нее ничего не требуется. Но, может быть, она любит кого нибудь?

— Нет, я никого не люблю, — ответила она. — И я охотно выйду за тебя замуж, если ты принесешь мне одну вещь в следующий Сочельник.

Но почему же не теперь? Разве у него не хватит денег купить, что угодно, на это Рождество?

— Это не всегда легко найти, — произнесла девушка и, сняв с полки маленький глиняный горшочек, протянула его молодому торговцу. — Вот, принеси мне такой маленький горшочек нежности, милый.

Нежность? Что это такое? Он никогда не слыхал об этом. Но, конечно, ее можно купить. И он поклялся, что на третий день Рождества принесет ей не горшочек, а целую бочку нежности. И действительно, придя домой, выкатил большую бочку на двор и заявил, что покупает нежность у всякого, кто ее принесет, и за любую цену. Но никто не являлся.

Прошли праздники, а бочка стояла пустой.

— Что ж, если нет у нас в городе, то можно поискать в другом месте, — решил он, — а он был упрям, очень упрям, и поэтому взвалил бочку на сани, положил мешок с деньгами и, надев самую красивую куртку с медными пуговицами, запряг лошадь и пустился в путь.

Мы не будем рассказывать, в каких городах и странах ему пришлось побывать. Только очень скоро ему пришлось продать и сани, и лошадь, и большую бочку, и расшитую куртку. А мешок с деньгами он сперва взвалил себе на плечи, а потом просто положил деньги в кошелек. И тот скоро опустел тоже, конечно, а в руках у него остался только простой маленький глиняный горшочек, который дала ему девушка, и он был пуст.

Он не вернулся ни в следующий Сочельник, ни в другой.

И, может быть, до сих пор сидит белая девушка у запорошенного снегом окна и прядет на прялке: Р-р-р, р-р-р.

А если вы встретите человека с голодными глазами и жестким сердцем, — человека с маленьким пустым горшочком в руках, — вспомните, что он очень устал, что он шел долго — долго — и подарите ему немножко нежности!

* * *

Человек захлопнул большую старую книгу. Зимний вечер начинается рано. Еще спешили по улицам запоздавшие прохожие, а в домах, везде — в больших и маленьких окнах зажигались елки. И у всех мигали свечи — радостными, праздничными огоньками. Но на ступеньках внизу попрежнему лежал чистый нетронутый снег.

Нет — сюда никто не придет зажигать елку. И некому рассказывать сказки.

Стало совсем тихо. Снег падал теперь сплошной завесой, и в белом тумане задрожал низкий торжественный колокольный звон.

Маленький гномик в красном колпачке, точь в точь такой, как их рисуют на картинках, вынырнул из-под проезжавшего автомобиля и юркнул в маленькую улочку. Пробегая мимо старого дома, он взглянул наверх и улыбнулся.

И человек у окна улыбнулся тоже.

1926 г. Рига.

ЕЛКА, КОТОРАЯ НЕ ЗАЖИГАЛАСЬ

Эту сказку помнят звезды, знают северные скальды и поют ее в Сочельник, чуть касаясь тонких струн . . . Это сказка про принцессу, про прекрасную Мафальду, и о том, как дал ей счастье белый рыцарь и колдун . . . Радость счастья — это время, когда нет воспоминаний. Только раз в году, в Сочельник, когда тает в сердце снег, вспоминают звезды сказку человеческих страданий, — только раз в году о чуде вспоминает человек . . .

* * *

С неба падают, как звезды, хлопья белыя пушинок — беспрерывно, неустанно, то взметясь, то снова вниз . . . И на темных старых башнях это кружево снежинок устилает крыши, шпицы и ложится на карниз. В этом белом снежном замке жил король-колдун когда-то. Он — великий чернокнижник, маг-волшебник, чародей. В коридорах темных замка — серебром мерцают лапы — это рыцари посменно сторожат покой дверей.

В эту ночь молчали струны, и не пели песен скальды — в угловой тяжелой башне, родилась принцесса — дочь.

В коридорах темных шопот:

— Белый снег — лицо Мафальды . . .

— Королева умирает в предрождественскую ночь . . .

И король, колдун угрюмый, шагом медленным и ровным обойдя притихший замок, на придворных не смотря, в спальню мертвой королевы приказал позвать придворным позолотчика сейчас же, кузнеца-золотаря.

— Я хочу, — сказал волшебник, — чтоб из золота сковали мне кольцо с тяжелым камнем — самым редким на земле. Я хочу, чтоб в этом камне синий пламень был печали, и пурпурный отблеск счастья в том же самом хрустале. В этот камень вплавить сердце, — чтобы был он настоящий — вплавить сердце королевы!

В камне сердце — в сердце — гарь . . .

И в притихшем старом замке, среди рыцарей дрожащих, до утра ковали перстень маг-колдун и золотарь. До утра пушистым вихрем звезды белые слетали и окутывали дымкой твердь земли и неба твердь . . . Тайну странную снежинки схоронили и узнали — то, что в камне было счастье, — были в камне жизнь и смерть . . .

Старый замок не менялся — жизнь текла своей чредою: проходили весны, зимы, проходил за годом год, и, как это было в звездах предначертано судьбою, проезжавший белый рыцарь постучался у ворот. Сам король жил в темной башне, в залах замка пели скальды, каждый день был новый праздник, звонкий смех, веселый пир: нету девушки прелестней и прекраснее Мафальды! Много рыцарей съезжалось для принцессы на турнир . . .

В замке песни и веселье: в замке дан сегодня будет в ночь, в Сочельник, для принцессы настоящий первый бал. Для того, чтоб рыцарь белый, тот, кого Мафальда любит в этот вечер, первый с нею в этом зале танцевал.

Рано утром выезжали дровосеки рядом стройным в занесенный снегопадом вековой дремучий лес, чтоб срубить для бала елку, — чтоб была она достойна королевской бальной залы, самой лучшей из принцесс. Но когда наставший вечер все окутал темнотою, серебря пушистым снегом, отдавая звоном струн — на пороге бальной залы, пред притихшею толпою появился вдруг незванный чародей — король-колдун.

— Я хочу, — сказал принцессе, — чтобы в этот самый вечер приняла ты мой подарок, — этот перстень золотой.

И она, забыв, что надо зажигать на елке свечи, замерла, увидев камень — камень, скованный мечтой.

* * *

Тома сидит, подперев кулаченками толстые щеки и сморщив курносую пуговку. Тома — очень серьезная взрослая

особа. В минуты волнения она говорит густым мрачным басом, с раскатистым «ррр», часто величая себя, по старой «детской привычке» в мужском роде: «Том».

В библиотеке тихо. За окном синий сад, черные сучья деревьев прижались к стеклу. Дедушка сидит в своем любимом кресле, вышитом васильками, с львами на лапах и рассказывает сказку. Тома не совсем понимает его, но от этого она кажется еще более интересной. Сказку слушает даже Горик, — этот несносный графчик, щеголеватый кадет, приехавший к ним на праздники и презрительно относящийся к ней, Томе — «девчонке». Он думает, что она не видит, как он первым бросается застегивать ботинки кузине Китти! Тоже, подумаешь, целый юнкер!

— Дедушка, а почему принцесса не зажгла свечек на елке? Ррраcскажи.

— Я забыл, что дальше, Тома! .. эту сказку рассказывал мне когда-то наш старый слуга Олаф, давно, давно, когда я был маленьким и жил в старом замке в Швеции . . .

— Барон, расскажите, как ваши предки сражались с Густавом Адольфом — просит Горик.

— Хорошо, хорошо . . . помоги мне, Тома, пройти в столовую . . . я хочу посмотреть, как они там веселятся. Нет, нет, Георгий, сиди спокойно, Тома всегда помогает мне ходить.

— Я буду держать за ушки, — мрачно заявляет Тома, подавая деду старомодные штиблеты с петельками на задниках.

Он встает, запахиваясь в халат и опираясь о ее плечо, идет, постукивая палкой. Столовая расположена гораздо ниже остальных комнат дома, и к ней ведут вниз несколько ступенек. Дед останавливается на пороге. За большим столом сидит много гостей, молодежи. Тома невольно зажмуривает глаза — после полутьмы библиотеки свет кажется слишком ярким, и она не может даже рассмотреть всех в столовой. Почему нет Китти? Ну, конечно, она опять поссорилась с Гориком. Сидит, наверно, где-нибудь в углу и дуется, как мышь на крупу, а этот несносный кадетик торчит в библиотеке и мешает ей разговаривать с дедушкой. Тома облегченно вздыхает, когда дедушка поворачивается и идет обратно. В гостиной он останавливается.

Посредине стоит огромная до потолка елка. Из открытой двери столовой на нее падает свет, и от этого она кажется какой-то особенной на фоне темно-синих окон террасы. От

дедушкиных тяжелых шагов вздрагивают квадратики паркета, а на елке позванивают в ответ колокольчики, покрытые серебряной пылью. А чего-чего только не навешано! Тома деловито осматривает еще раз все это великолепие. Больше всего ей нравится вот та плюшевая обезьянка с лиловым шариком в руках, и этот серебристо-алый огромный шар, и картонный ангел в ватной часовенке, и еще большое пряничное сердце и . . . и, наверно, внизу, на зеленом мху, закрывающем крест, остались еще умилительные боровички из медовых пряников и красные мухоморы с сахарными нашлепками. Тома молниеносно ныряет вниз и, зажав в кулаке боровичек, снова подставляет плечо под тяжелую дедушкину руку.

В библиотеке дед открывает ящик письменного стола и достает оттуда коробочку. В ней лежат разные памятки — даже Горик удостаивает ее любопытным взглядом — печатки, брелки, цепочки, ладонки, сломанные топазовые запонки, пуговицы из агата . . . и два тяжелых золотых перстня с каким то большим камнем, которые дедушка кладет на ладонь и задумчиво подбрасывает их на руке, от чего камни сыплют алые искры.

— Я хочу сделать тебе подарок, Тома . . . может быть, на следующее Рождество . . . ты будешь уже без меня зажигать елку. Носи его, пока на цепочке... Это тот самый камень, про который говорится в сказке.

— Это александриты — они сине-зеленые днем и красные ночью и добываются на Урале, — говорит Горик.

— Да. В нашей семье они переходят от отца к сыну и, говорят, что приносят счастье . . . Сыновей у меня больше нет, я последний в роде. Осталась только ты, «княжна Том». А второй перстень тебе, Георгий. Но вы оба должны обещать, что никогда — слышите, никогда не будете снимать этого кольца.

— А почему ты сам не носишь, дедушка?

— Потому, что . . . потому, что я уже знаю, что такое счастье, Тома . . .

И старик смотрит поверх их голов в синее окно в переплет черно-белых сучьев, ласково и грустно улыбаясь чему-то, что видят только его усталые потухающие глаза . . .

* * *

Час спустя в той же библиотеке, но уже без дедушки, разыгрался маленький скандал. Щеголеватый кадет, выведенный из себя «бестактными» вопросами девчонки, забыл, наконец, про свою взрослость и высунул ей язык.

— Ты не граф, а грррубиян — вспылилила Тома, едва сдерживая свое возмущение.

— А ты совсем не княжна Тома, а просто . . . просто кудлатая матрешка!

Тома, сосредоточено пыхтя, забралась на стоящую рядом лесенку и, очутившись таким образом, на одном уровне с лицом кадета, размахнулась и изо всей силы ударила его ладошкой по щеке.

— Что ты сделала, Тома?! — ахнула мама, появившись на пороге.

— Дала ему по моррррде, — свирепо вращая глазами, заявила басом «кудлатая матрешка».

* * *

Что же дальше было в сказке? Чем же прервано веселье? Почему затих блестящий королевский бальный зал? Почему в старинном замке в тот Рождественский Сочельник не зажглась огнями елка и никто не танцевал? Белый рыцарь, принц веселый, не дождался поцелуя — подняла к нему принцесса побледневшее лицо:

— Я зажгу на елке свечи, если тот, кого люблю я, на своей руке покажет мне такое же кольцо!

* * *

С той поры по белу свету бродят рыцари Мафальды, собираясь на сочельник в старый замок каждый год . . .

Эту сказку помнят звезды, знают северные скальды, но никто из них не знает, кто же перстень принесет . . .

Ах, княжна Тома, бедная княжна Тома!

Тоненькая худенькая фигурка плотно кутается в потертый зимний костюмчик с воротничком из бывшего енота. На бледном, слегка усталом насмешливом лице большие черные глаза. Тома быстро идет по улицам старого города, так же, как и все остальные фигуры людей, спешащих на работу — хотя, нет, не совсем так. Те не видят того, что под-

мечают черные, широко открытые, как будто бы удивленные глаза — ни мягкой сепии деревьев бульвара, на которые так картинно улегся полоской ваты снег, ни матовых переливов перламутрового неба, ни тысячи других, таких красивых, таких чудесных вещей!

В этом старом городе, на берегу моря, часто гуляет ветер и, пронесясь по широким бульварам, замирает в узких переулочках, у подножия высоких каменных кирок. Старый немец, хозяин Томы, поднимает на лоб очки в золотой оправе, перевязанные тесемочкой, и вздыхая говорит.

— Северо-западный ветер. На море опять шторм. Помоги Господи тем, кто в море сейчас думает о земле.

Тома уверена, что если бы он не был немцем, то обязательно перекрестился. Но он не крестится. Он только еще ласковее смотрит на нее и, ласково гладя по руке, замечает:

— Ну, принцессин Тамара. Нужно помнить о людях, но нельзя забывать, что наши куклы тоже живые.

Тома проходит под старинными сводами ворот, в толще которых построен целый дом, пробирается, придерживая рукой шляпу мимо портала церкви, мимо ратуши, со стрельчатыми готическими арками, мимо маленьких смешных домиков-лавчонок, как сказочные грибы. Снег плотно закутал их крыши и, кажется, что в светящемся окошечке должна появиться сейчас голова седобородого гнома.

Как хорошо, что ей не надо работать в каком нибудь шикарном модном магазине в другой части города. В старом доме маленькая полутемная витрина. Она почти не отделяется от стены — но эту вывеску знает весь город, и все приходят сюда покупать маскарадные маски, резные статуэтки из дерева, и самые странные, красивые и фантастические куклы, каких могут только создать кропотливое усердие старика хозяина и ловкие пальчики Томы. Все покупатели с уважением относятся к Томе — может быть еще и потому, что хозяин никогда не величает ее иначе, чем «принцессин», и как бы в подтверждение этого, на руке у Томы блестит тяжелый старинный перстень. Дедушкин перстень с огромным александритом — единственная Томина драгоценность.

— Я никогда не снимаю его, потому что это семейная реликвия — объясняет Тома молодому рыжеватому голландцу, что-то очень часто ставшему заходить покупать куклы. — Он должен принести мне счастье.

— О да, конечно, принцессин, конечно, — соглашается тот, не отрывая от нее глаз. — Этот камень — о! это совсем особенный камень.

— Мингер ван дер Фост, кажется, очень интересуется куклами? — с лукавой улыбкой спрашивает ее старичок, хозяин. — Барон Зольц говорил мне, что он очень приличный молодой человек. Он приехал сюда по делам своей фирмы, и в Голландии у него крупное состояние... Да, да, в жизни часто происходят разные вещи... такая молодая и хорошая девушка, как вы, из хорошей семьи — кто знает?..

— А я и знать ничего не хочу про вашего «ван дер Хвоста»! — мрачно бубнит Тома, нанизывая на тоненькую иголочку бисерное ожерелье. — Пусть он мне сперва тюльпаны на льду вырастит, тогда я буду с ним разговаривать!

— Ах, принцессин, принцессин, какая вы смешная девушка!

Тома молчит. Тома думает о том, что сейчас вот, как раз в это время, мимо окна должен пройти высокий стройный господин с темными глазами. Он проходил уже несколько дней подряд, и каждый раз останавливался, чтобы посмотреть на разложенные в окне куклы. Может быть, он даже и не видит склонившейся над работой Томы. Но она зато разглядела его, как следует. Где она видела это лицо? Насмешливое, задорное, с острым, капризным и упрямым подбородком, с пренебрежительной улыбкой жесткого рта...

И только когда он вошел и приподнял шляпу, с чарующей улыбкой обратившись к ней и попросив на ломаном немецком языке показать ему куклу, Тома едва удержалась от восхищенного крика, и от того, чтобы не броситься к нему на шею, к вящшему удивлению старого немца и сидевшего, как всегда, у прилавка, мингера «ван дер Хвоста». Горик! Ну, конечно, Георгий, какой-то ее троюродный кузен, щеголеватый кадет, которому дедушка подарил второе кольцо! С того Рождества она не видела его больше. Смутно припомнились бесчисленные истории, ходившие про его легендарную храбрость и скандальные любовные авантюры — позже, когда она подросла, мама иногда забывала о ее присутствии... Боже мой, Горик!

Но Тома не бросилась ему на шею. Она осталась стоять за прилавком, и доставая куклу, безотчетно повинуясь ка-

кому-то странному чувству, быстро сняла с руки александритовый перстень.

— Вот эту, сударь?

— Вы говорите по-русски?

— Ну, конечно. Ведь, я русская.

— Я так и думал.

— Почему?

— Вы слишком непохожи на других.

— Жаль. Стоящий вне толпы резче чувствует ветер. Но ведь и вы такой же.

Он быстро взглянул на нее. Тома не опустила глаз. Узнает или нет? Нет, не узнал, но улыбнулся, — так улыбаются мужчины, бросающие женщин после первого поцелуя.

* * *

Он не узнал, и каждый раз, когда приходил в магазин посидеть, поболтать с хозяином на смешном языке, который считал немецким, и выбрать какую-нибудь безделушку, Тома сразу же снимала с руки кольцо. Ведь он звал ее княжной Тамарой и даже ни разу не спросил ее настоящего имени!

— Какое у вас красивое кольцо, граф... александрит?

— Да, я никогда не расстаюсь с этим перстнем. Редкий по красоте камень.

Любая женщина отдастся за него.

— Любая? А если у нее самой найдется такое же кольцо?

О, это совершенно исключается. Я получил его мальчишкой от своего дальнего родственника. Семейная драгоценность, два уникума. Дубликат был подарен им своей внучке, и очень жаль потому, что девочка, наверно, давно уже потеряла его...

— А на обратной стороне выгравирован ваш девиз, вероятно?

— О, да.

— Можно спросить, какой именно?

Совсем попрежнему мальчишеская, самоуверенная улыбка раздвигает тонкие губы.

— «Лови момент!»

— И вам не совестно?

— Нисколько. Разве это не правильно?

«Лови момент» . . . Может быть, и она такой же «момент»? У Томы на языке всегда готов острый ответ, и это ему, очевидно нравится. Он охотно рассказывает о себе и однажды совсем просто предложил ей зайти к нему посмотреть одну старинную рукопись . . . Тома чуть-чуть удивленно приподняла брови, но согласилась.

Ах, какой это был чудесный вечер! У него нашлось много чудесных, красивых, редких вещей, и он вел себя, как настоящий джентельмен. С тех пор Тома была у него еще несколько раз. Теперь это казалось совершенно естественным, но не хотелось приглашать его к себе, в маленькую, бедную комнату.

— Граф, что вы делаете на Рождество?

— Сочельник проведу дома, один, а потом начну кутить. — А что?

— Нет, просто, так . . . хотелось посидеть вместе с вами у елки.

— Так вот и великолепно. Встретим Сочельник у меня, хорошо?

Он целует ей руку и заглядывает в глаза . . . — Значит, в сочельник . . .

* * *

— Принцессин Тамара, что вы будете делать на праздник?

— Буду сидеть дома, читать, пойду в театр . . .

— Вы разрешили бы . . . зайти к вам?

— О, мингер ван дер Фост . . . я живу так скромно, что, право . . .

— Я должен поговорить с вами, принцессин . . . Очень серьезно поговорить. Сделайте мне этот подарок!

Томе немножко жаль «ван дер Хвоста». У него такой смущенный умоляющий вид. Значит, на Рождество она получит предложение. Бедняга! Он будет огорчен. Но что же делать, если у нее и поет и рвется душа — к другому?

Горик — эгоист, самовлюблен, самонадеян, скользит по поверхности, не задевая глубин, и больше всего ценит свое собственное удобство . . . Он даже не ухаживает, а просто берет то, что ему «плывет в руки». А плывет ему много . . . и она тоже . . . Она? Тома возмущается, но только на минуту.

Все равно . . . Неужели он не узнает ее, не увидит, не почувствует, не ответит — настоящим?

— Я влюблена, — улыбается Тома вышитым куклам.

— Я влюблена, — шепчет она, идя по улице и целуя снежинки, таящие на губах. Я влюблена, старый город, слышишь? Я люблю его люблю, люблю!

* * *

— Принцессин Тамара, нам надо делать праздничную витрину.

Тома готова расцеловать своего старичка Миллера. Какой в этом году чудесный, красивый город! И белый праздничный снег, и легкий мороз, и предпраздничная суета, — все это вбирается в душу так остро и ярко, что на глазах выступают слезы. Ведь, и у нее будет праздник. У него — с ним.

Из темного пыльного шкафа, стоящего в самом углу мастерской, вытаскиваются огромные картонки. Тома, стоя на коленях в окне, убирает его ватой и ветками. Посредине водружается маленькая елка с хрустальными сосульками, а кругом — стильные куклы в дорогих шелковых костюмах.

— Это мои лучшие куклы, принцессин. Я получил их в наследство еще от своего отца, а тот от деда. Они вынимаются из шкафа только раз в году — на Рождество. Эти куклы делал когда-то большой мастер.

Тома расставляет в витрине рыцарей, придворных дам, пажей и у самой елки — красавицу принцессу с золотой короной на голове. Она сделана из алебастра, раскрашена и кажется совсем живой.

— Но эти свечки на елке слишком маленькие, герр Миллер. Их нельзя будет зажечь.

— Нет, принцессин. Они и не должны зажигаться. Вы, наверно, никогда не слыхали сказки про принцессу Мафальду? Принцесса до тех пор не зажигает елки, пока рыцарь не принесет ей волшебного перстня.

Мафальда? Эту сказку рассказывал дедушка . . . В старой усадьбе, в огромной библиотеке с синими провалами окон . . . Почему на Рождество вместе со свечками зажигаются воспоминания? Ах нет, не надо об этом думать . . . Разве можно вспоминать, когда ждешь счастье?

* * *

На Томе надето платье из бледно палевого шелка, с вышивкой из темной бронзы и старого золота. Сколько усилий и трудов пришлось потратить, чтобы выглядеть нарядной в этот вечер! Кутаясь в короткий жакет она идет быстро, потому что без калош мерзнут ноги в тоненьких туфельках. Только бы не расплескать, только бы не разлить эту радость, наполняющую душу!

В Сочельник, вечером улицы кажутся темными. Во всех домах уже зажигаются елки. Георгий, Георгий... Сегодня она не снимает перстня. Пусть он увидит его. Пусть узнает. Может быть... Но что может быть, она не решается договорить даже самой себе.

* * *

На елке самодельные картонажи, серебряный дождь и белые свечки.

— Какая вы нарядная сегодня, Тамара. Вам удивительно идут длинные платья. И вообще, вы сегодня какая-то другая. Я еще не могу найти, в чем именно это заключается.

— Выпьем за то, в чем это заключается, граф!

Тома волнуется. Когда же он скажет ей то, чего она ждет, — ласковые, сильные слова, от которых загорится сердце?

Горик долго смотрит на нее. Глаза становятся тяжелыми, властными. Наклоняется. Целует. Долго, очень долго. Тома лежит у него на коленях с запрокинутой головой. Неужели же так, без слова... Он целует настойчивее. Оторвавшись от его губ, видит скользящую, чуть пренебрежительную улыбку...

— Я... я хочу вам напомнить, граф, ваши же слова — «я ценю женщин, как папиросу»... и отбрасываете окурок? Но я ценю себя больше.

Он чуть-чуть отодвигается. Немного раздосадован.

— Это зависит от вас... я терпеть не могу принуждений...

И только, о Боже! Значит, все было напрасно. Значит... Она протягивает руку, чтобы взять со стола папиросу. Георгий с наблюдающей улыбкой предупредительно зажигает спичку. Тома опускает руку, и на безымянном пальце пурпуром загорается александрит.

— Что это у вас? Кольцо? Я не замечал раньше. Удивительно...

Он внимательно вглядывается в перстень, переводит взгляд на свои руки, снова смотрит на нее.

— Скажите —откуда . . . откуда у вас этот александрит?

— От маленькой девочки, которую кадет Горик звал «кудлатой матрешкой».

— Княжна Тамара . . . Княжна Тома . . . Неужели это ты. . . Почему же вы мне ничего не говорили до сих пор? Я никогда не думал . . .

— Зато я думала, Горик . . . нет, нет, теперь мне пора домой. Я зайду еще как-нибудь . . . потом.

— Я вас не отпущу. Оставайтесь и рассказывайте . . . ведь, мы не виделись — лет двадцать по крайней мере. Не каждый же день можно встретить родственников! Вы наверно забыли уже, что мы кузены?

Он лукаво улыбается и прибавляет:

— И потом мы еще не зажгли елки . . .

— Елка, которая не зажигалась . . . — беззвучно повторяет Тома. Она небрежно, не глядя в зеркало, надевает шляпу и жакет, и протягивает руку.

— Прощайте . . . Георгий. Мне надо итти.

— Как хотите . . . — недовольно говорит он и провожает ее только до дверей.

* * *

Тома медленно, — ей некуда торопиться, — идет по темным улочкам старого города. Кое-где в домах видны еще отгорающие елки, слышна музыка. Ночные сторожа топают в подъездах. На улицах — ни души. Идет мелкий, легко поддуваемый ветром снег. Тома идет осторожно и медленно. Она очень устала. Не хочется думать. Значит, это все. Счастье создается из пустяков — счастье разбивается пустяками. . . что же, собственно случилось? Ничего особенного.

Но она знает — знает слишком ясно, чтобы можно было обмануть себя — ничего не могло быть уже потому, что ничего и не было. Легкая маленькая интрижка, пустяковый роман. Без единого ласкового слова, просто, небрежно улыбнуться, взять, и улыбнуться снова . . . и это вся ее тоска, по любви, по большому, безумному счастью!

Тома, сжав губы останавливается перед витриной с куклами, и, вынув из сумочки ключ, открывает дверь. В витрине,

около наряженной елки, принцесса Мафальда ждет, когда принц принесет ей кольцо с волшебным камнем — с камнем, который нельзя подделать, так же, как нельзя подделать сердца и нельзя выдумать счастья, если оно не пришло!

* * *

Тают белые снежинки, опускаются на землю, обволакивают замок в легкий призрачный покров... В старом замке тихо, тихо... в коридорах стража дремлет, и покой их не нарушен дерзким гулом голосов. В коридорах темных замка бродит бледная принцесса, с завороженной улыбкой смотрит в даль, в глухой тоске... Может быть, из древней чащи настороженного леса на коне к ней мчится рыцарь, рыцарь с перстнем на руке?

И нарушив приказанье, легкой птицей по ступеням, поднялась в покои башни — к чародею — королю:

— О, отец, тебя прошу я, умоляю на коленях — дай мне счастье — ты волшебник — дай того, кого люблю!

Но колдун лишь улыбнулся, покачавши головою:

— Нет, Мафальда... все, что знаю, все, что здесь я берегу, я могу отдать за сердце настоящее, живое, но нельзя придумать сердца — счастья дать я не могу! В этом камне бьется сердце, этот камень — настоящий... Ты сама избрала жребий, и запомни навсегда: если твой любимый рыцарь не отдаст всего за счастье, то твоя, Мафальда, елка не зажжется никогда.

Руки белые принцессы — крылья падающей птицы...

Чу?! ведь это рог призывный пред воротами звенит?

И из чащи белой леса выезжает белый рыцарь, в коридорах замка будит эхо звонкий стук копыт.

Подъезжает ... входит в замок... Тает снег на белых латах.

— Прикажи, принцесса, чтобы, как уже случилось встарь, был бы позван в старый замок приходивший раз когда-то к королю в Сочельник ночью старый мастер золотарь.

В коридорах замка снова звонкий гул и звоны песен:

— Белый рыцарь у порога!

— Белый рыцарь в зале ждет!

— Он нашел волшебный камень!

— Он нашел волшебный перстень!

— Тот, кого принцесса любит . . .

— Тот, кто счастье принесет . . .

У застывшей елки в зале собрались пажи и слуги, все придворные и дамы и столпились у дверей:

— Как бледна, — дрожит принцесса . . .

— Что-то будет? Что-то будет?

Сам король спустился с башни . . . сам великий чародей!

На коленях пред принцессой, белый рыцарь снял забрало:

— Много лет я шел, принцесса, обойдя кругом весь свет,— только тот чудесный перстень, про который ты сказала, не нашел я, потому что на земле такого нет. Я прошел леса и горы , через стужу и туманы, чтоб тебе , принцесса , радость — счастье в замок принести . Южный ветер гнал мой парус по морям и океанам — но волшебный этот камень я не мог нигде найти. В этом камне жизнь и счастье, в этом камне мрак и холод — искра пламенная сердца — боль и горечь — сердца гарь . . . Пусть же снова повторится то, что было, — пусть свой молот поднимает в старой башне тот же самый золотарь! Чтобы дать тебе, принцесса, сердце в камне настоящем, чтоб зажглись огни у елки — загорелось пламя свеч — все тебе отдам, Мафальда, за твое, принцесса, счастье куй, колдун, кольцо второе, — вот король, тебе мой меч!

На ресницах у Мафальды две слезинки задрожали . . . Замер старый замок в страхе от безумных, страстных слов . . .

Вдруг, — о чудо, — свечи елки загорелись, заблистали от звезды, упавшей с неба мириадом огоньков . . .

* * *

Звезды снега знают сказку про чудесный, странный камень, тот, который каждый вечер загорается огнем . . . В этом камне бьется сердце — и горячий алый пламень, и печати отблеск синий — оба вместе в нем одном . . . Радость счастья — это время, когда нет воспоминаний — только раз в году, в Сочельник, когда тает в сердце снег, вспоминают звезды сказку человеческих страданий — только раз в году о чуде вспоминает человек . . .

* * *

На праздниках, встречаясь с знакомыми, граф Георгий рассказывал им удивительную историю — как он нашел

свою кузину и узнал ее по такому же кольцу, какое он сам носит на руке... И только, когда прошли святки, стало немножко неловко... Почему она не приходила до сих пор? Впрочем, ведь и его не было дома... Милая, славная девушка... В ней есть что-то настоящее — может быть то, что ему до сих пор не приходило в голову искать? Впрочем, теперь он слишком устал для поисков — к чему? «Докуренная папироса?» Ну, нет, он еще не докурил ее и, вспомнив это сравнение, он невольно улыбнулся...

В маленьком кукольном магазинчике Томы не было. Георгий вошел и удивленно оглянулся.

— Где же Тамара?

Старичок немец торопливо пожал ему руку, сдвинул на лоб очки, и обрадовавшись, что может наконец излить душу, стал рассказывать, смешно пересыпая русские слова немецкими.

— О, нет, принцессин Тамара не служит больше в его магазине. Он очень, очень рад за нее. Она теперь будет тем, кем и должна быть настоящая русская принцессин — богатой, счастливой женщиной. Принцессин Тамара вышла замуж за молодого голландца, который бывал у них в магазине. Она так и сказала, ему, старому Миллеру:

— Теперь, герр Миллер, я сделаю три вещи: во первых, выкрашусь в рыжий цвет, потому что мой жених тоже рыжий, и еще потому, что это самая большая глупость, какую я могу сделать. Во вторых, я выхожу замуж за вашего мингера ван дер Хвоста и уеду с ним в Голландию. А в третьих, я сделаю вам подарок — вернее не вам, а той принцессе, которая не зажигает под Рождество елки в вашей витрине.

Старик любовно погладил шелковую юбку улыбавшейся куклы. На тонкой руке, в виде запястья синевато-зеленым омутом тускло мерцало старинное кольцо...

— Принцессин Тамара — такая смешная девушка! Вы знаете, она пришла сюда ночью, в Сочельник и зажгла в витрине елку... Подумайте! Елку принцессы Мафальды! Она пришла вчера проститься и сняла с руки кольцо, такое дорогое кольцо! Мне показалось даже, что она плакала, но когда принцессин волнуется, она говорит таким смешным басом, как большой мужик:

— Этого ван деррр Хвост не получит. Нет!

А вам, сударь, она просила передать только вот эту записку.

Георгий взял в руки листок.

* * *

Так проходит мимо счастье . . .

Вот и все.

Как это просто!

Никому не нужно сказок . . . в сказке — сердце, в сердце — грусть. Я сегодня стану рыжей и уеду с ван дер Хвостом в льду выращивать тюльпаны . . .

И, конечно, не вернусь . . .

Может быть, так было лучше: я не знаю, мой любимый, но с последней лаской сердца посылаю свой привет — снегу белому и елке — той, которой не зажгли вы — потому что это сказка — потому что сказки нет.

1935 г. Рига.

КОРОЛЕВСКИЙ ПИРОГ

Тяжелой книге, — много, много лет — она звучит такою нежной скрипкой — ее писал на севере поэт с печальною и ласковой улыбкой... По сказке рассыпаются улыбки — и надо воедино их собрать — ведь, говорят, звучат нежнее скрипки, что разобьют и склеют вновь опять.

Мы усядемся под елку слушать разные рассказы. Выпьем капельку рубина — подогретое вино... Звезды в пыли серебристой — точно белые топазы, точно те, что заглянули в темно-синее окно... Мы сидим под пестрой елкой — расскажи, веселый гномик, раз просунул в щелку двери ярко красный колпачок, — расскажи про королевство, где — мечта для очень многих — пекся раз в году, в сочельник, замечательный пирог.

— Это был весьма похвальный и стариннейший обычай: у богатых средь начинки запекался золотой, был серебряный у бедных — ну, а нищие, обычно, клали в толстую лепешку черный боб один простой. И когда на темном небе свет вечерний зажигался, собирались все у елки — сколько в доме есть людей, — и пирог сей королевский хитроумно разрезался на количество большое одинаковых частей. Золотой в него, понятно, запекался в строгой тайне — неизвестно, кому будет самый лакомый кусок. Но один всегда отложен — если кто зайдет случайно, чтоб участье в этом пире принимать он тоже мог.

... Расскажи, веселый гномик, что же дальше было в сказке? Может быть, мы тоже этот золотой в куске найдем?

— Кто нашел, тот, кто бы ни был, по закону и указке объявлялся в этот вечер настоящим королем. Надевал он бархат

мантий, золоченую корону, объявлял свои желанья — исполнять должны их все — и в сочельник в королевстве — даже в самом бедном доме, были радость и веселье, и счастливый звонкий смех.

* * *

Ах, эти заснеженные рождественские королевства, по которым перекликаются серебряные колокольчики, — из года в год, — звенят в первых тающих снежинках, россыпью зовут в снежный туман, в колдовство сверкающих белых улиц.

Так, перед Сочельником, бродишь, заглядываясь на все эти замечательные заманчивые вещи — пестрые переплеты сказок в строгих книжных витринах, яркие бумажки конфет, толстые коричневые пряники в ватном снеге кондитерских. На нарядные, веселые окна, на праздничных, оживленных людей. Вот так сорваться, побежать с ними вместе, взять в охапку пакеты с заткнутыми в них веточками ельника, хлопать мягко поддающимися дверьми магазинов, выбирать, покупать, нести домой. . .

А так как у меня нет своего дома, куда я принес бы эти пакеты, то я брожу по городу и смотрю на чужие окна. Сентиментальность? Может быть. Я позволяю ее себе очень редко.

Знаете, на углу, у старого католического собора — тяжелая готика, очень ранняя, прямые линии. плавные арки в красной кладке кирпичей . . . Напротив него — маленький домик в три этажа, узкий, как конфетная коробка. Кто-то сделал в нем широкие модные окна, и, чтобы сохранить стиль, — зеленые ставни. А наверху и стиля сохранять нечего — крыша отступает горбылем, сейчас она совсем насупилась от снега — и под самой крышей — светится окно.

Сейчас оно не светится. Сейчас еще не потемнело мягкое серое небо. Метет мягко и ласково белая метелица. Пляшут, как будто на волнах качаются, нежащие хлопья . . . Вверх и вниз . . . вверх и вниз.

Я сегодня рано закрыл контору и отпустил служащих. Они торопятся домой. Каждого кто-нибудь ждет . . . Меня никто не ждет. Жена вспомнит вряд ли: уже год, как мы разошлись, а Надин? Надин устроила мне вчера сцену — терпеть не могу сцен. Я не пойду к ней. Я стою вот здесь, около ста-

рого конфетного дома в самой старинной части города, куда даже не доносятся звонки трамваев, и смотрю на смешные маленькие ступеньки, покрытые нетронутым снегом. Кто здесь живет? Кто поднимется по ним — наверх, под самую крышу? — Может быть, в этой смешной маленькой мансарде живет седой старичок, похожий на гнома. Или . . .

На меня кто-то смотрит. Еще бы! Торчу тут перед домом полчаса . . . Оборачиваюсь. Нет, это совсем не старик, и никак не гномик. Это девушка, которую я знаю. Мягкая серая шубка из какого-то старенького меха. Большие, прозрачные глаза и такая же прозрачная улыбка. Она у нее чуть лукава и пленительно дрожит в уголочках розового, не накрашенного рта. Девушка эта приходит — не особенно часто— в мое постоянное кафе. Я люблю смотреть, как она ест — видно, что поджаренные, хрустящие булочки для нее — не частое удовольствие. А читает она французские газеты, что уже совсем приятно. Воспитана. И всегда одна. Я смотрел на нее несколько раз, и она краснела. Хорошо, когда девушка может краснеть? Последний раз я даже приподнялся и поклонился слегка, — она испугалась и чуть наклонила головку. Но я не сказал ни слова — эта недоговоренность маленькой случайной встречи делает ее гораздо интересней, а мне так надоела Надин с ее мужем, и Зока со своей цыганщиной, и . . . да разве их пересчитаешь? Когда я рассказал об этой встрече Ежику, — Ежик самая умная из моих очередных «любимых», и в награду за это зовется в мужском роде — она только пожала плечами:

— Тигр, когда он сыт, спокойно смотрит на лань и пошевеливает хвостом . . . а ты здорово пресыщен.

Я не то, чтобы пресыщен, но устал, и это верно. Но чтобы спокойно смотреть на «лань»?! Сейчас я, правда, смотрю спокойно, ведь это естественно.

Девушка удивлена. Напугана. Поворачивается. Сейчас уйдет . . . Как . . . она идет к этим нетронутым ступенькам? Живет здесь . . . или? И вдруг оборачивается — набралась храбрости:

— Простите, — голос рассыпается, как бубенчики, — но если. . . вы ждете кого-нибудь . . . из этого дома . . . то здесь никого нет.

То, что она сразу заговорила по-русски — ведь мы не ска-

зали до сих пор ни слова! — это понятно. Но то, что она говорит вообще — это уже очень много.

— А кто здесь живет? — Я так пристально смотрю на нее, что она не может не ответить.

— Один старый немецкий профессор. — Он уехал на праздники . . . И . . . я.

— В мансарде наверху?

— Откуда вы знаете?

— Мне приходилось иногда угадывать и государственные тайны.

— Вот как? А что же вы теперь хотите угадать?

Девушка совсем осмелела. Стоит в дверях и улыбается прозрачно, как снежинка, как белая метелица. Я делаю только один шаг, чтобы очутиться рядом с ней. Продолжаю смотреть в упор (Ежик называет это «позой боа-констриктора»)— и говорю раздельно и отчетливо, скандируя слова, в такт этому падающему снегу. Да и только ли этот снег падает, простой, игольчатый, или настоящая сказка ходит вокруг, метет землю серыми сумерками?

— Я хочу угадать очень много . . . я хочу задать вам несколько странных вопросов, и вы мне ответите на них — совсем чужому вам человеку — может быть потому именно, что я — чужой. Ведь сегодня сочельник. В Англии в этот день вешают над дверьми ветку омелы — каждый, встречающий под ней девушку, может ее поцеловать. Но я не хочу целовать вас. Я не спрашиваю даже вашего имени. Я только хочу знать — будет ли сегодня вот в этой мансарде, за голубоватым окном, елка? И будет ли на ней . . .

Я хотел сказать — счастье, праздник, но вместо этого вдруг сорвалось слово, которого совсем не хотел произносить, — так, маленькое воспоминание детства, забытое уже, и милое вдвойне . . .

— Будет ли на этой елке — королевский пирог?

Она так широко раскрыла глаза, что слетающая снежинка запуталась в ресницах. И сразу просияла в доверчивой и трогательной улыбке.

— Королевский пирог? . . Конечно. Разве без него может быть елка? А вы — помните тоже? Это французский обычай, он был не у всех в семье. Но только . . .

— Только?

— Я оставлю, понятно, кусочек для случайного гостя — но это будет громадный кусок: мне придется есть мой пирог одной.

Я был побежден. Вот то, чего мне хотелось давно — совсем необычайный Сочельник. Я взял ее руку, снял пушистую вязаную варежку, поцеловал маленькую сухую ладонь и произнес торжественным колокольным тоном:

— Я буду сегодня вашим гостем и ... съем королевский пирог!

Я повернулся, прежде чем она успела что-либо возразить. Во первых, неизвестно, стала ли бы она возражать, а потом нужно всегда оставлять за собой последнее слово. Единственная женщина, с которой я отступаю от общего правила — это Ежик. Но Ежик во первых умна — и никогда не скажет последнего слова, а во вторых, у нее совсем особенное амплуа: она занимается тем, что классифицирует и определяет мои отношения к другим женщинам. У меня самого для этого мало времени — и слишком много женщин, а она умеет выражаться литературно.

Надин может встречать Сочельник одна — это ей будет хорошим уроком. Ладе я сказал, что никак не могу быть. Сонни-бой предупреждена, что еду к тетке. Итак, все в порядке. У меня оставалось немного времени — до вечера, но магазины закрывались еще не скоро, и по дороге я тщательно обдумал все.

У Ежика уже были гости, и горела елка. Она вышла в переднюю.

— Ты во фраке? И в своих бобрах? Но ведь у меня только свои ... Нет, ты что-то затеваешь. Почему не снимаешь шубы?

Ежик была очень мила, и, как нарочно, — нет, мне положительно везет сегодня — в новом лиловом платье.

— Послушай, дорогой и очаровательный Ежик. Я не буду раздеваться. Я ужасно спешу. Но, прежде всего, разреши тебя поздравить с Рождеством Христовым, и ... Давай-ка сюда твою лапку.

К счастью, у Надин с Ежиком почти одинаковые руки — и кольцо с аметистом пришлось как раз впору. Ежика я балую очень редко, а Надин — поделом.

— Кольцо? — Мне — с аметистом — мои любимые ... Мне? Ну, знаешь, я тронута до слез ... Вы любезны сверх

меры... Но, лютая моя тигра, куда же это ты? Посиди у елки...
— Ежик, я слишком ценю тебя, чтобы соврать, будто я должен навестить мать. Во-первых, мама умерла пятнадцать лет тому назад, как тебе доподлинно известно, во-вторых, для этого не надевают фрака, а в-третьих, я завтра непременно зайду, и за чашкой крепкого чая расскажу тебе от начала до конца замечательный эпизод. Ты можешь представить меня в роли сказочного короля?

На Ежика действует откровенность. Для Надин мне надо было бы придумывать длинную историю, а Сонни-бой сказать просто: отвяжитесь. Все женщины одинаковы — к ним надо только по-разному подходить...

Ежик качнула гладкой черной головкой и стряхнула с моего воротника застрявшую снежинку:

— Бедная сказка!

* * *

И однажды — был Сочельник. Звезды вспыхивали в искрах — зимний вечер в королевстве — синий вечер, белый снег... По заснеженной дороге и сыпучей, и пушистой, направлялся в город путник — и второй с ним человек. Был один высокий, стройный, в алом шелковом камзоле, а другой в отрепьях серых, что скрывают стыд и боль. Первый — счастлив и удачлив, нищета — второго доля... Был один — презренный нищий, а другой — его король.

Но — кто знает цель и сроки, то, что было и что будет? И кому известны срывы человеческих путей? Почему король веселый постучался к нищим людям, — в самой маленькой из хижин постучался у дверей? В доме холодно. На елке — два огарка, а не свечки. Удивленье вызывает гостя шелковый камзол. Но — кто-б ни был гость случайный в этот синий, снежный вечер, будет встречен он улыбкой, для чего бы ни пришел!

— Сядь, красивый чужестранец, — перед елкой всем есть место — будет гость благословенен, перешедший наш порог. И, как нам велит обычай, не в обиду вашей чести — мы с тобой разделим вместе королевский наш пирог.

Увидав «пирог» — лепешку — гость едва не рассмеялся. Но сейчас же спохватился и наморщил грустно лоб. И в его куске лепешки, как нарочно, оказался, запеченный среди те-

ста «королевский» черный боб. Бедным людям в этот вечер гость принес с собою счастье. Мы не знаем, где теряем, мы не знаем, где найдем... Так король у бедной елки — ведь король был настоящим! — был объявлен среди нищих на Сочельник — королем. Он был рад веселой шутке — полетели золотые! Был устроен настоящий и веселый очень бал.

Все желанья исполнялись! Платья, яства дорогие... И король с одной бродяжкой очень мило танцевал. С той поры прошли уж годы... но всегда, в холодный вечер, грезят нищие в Сочельник, забывая свою боль, — что однажды в бедном доме, как звезда, горели свечи — и однажды настоящим был их святочный король!

* * *

По дороге я остановил зазевавшегося мальчишку. Наверно, шел поздравлять какую-нибудь тетку. Краснощекий, курносый и в новых шерстяных чулках.

— Вставай на запятки — прокачу!

Степенный молодой человек сперва опешил, потом махнул через сугроб и уцепился сзади за мою шубу.

Это было предусмотрено тоже — один я не мог бы снести наверх всех пакетов. Длинный синий армяк извозчика волочился забавным шлейфом по ступеням узкой лестницы на самый верх конфетного дома. За ним карабкался мальчишка, и затем я с букетом ландышей в белой бумаге.

На площадке одна только дверь. В тусклом свете лампочки черная обивка двери в продранных местах отсвечивала холодным железом. А если... меня не ждут? А вдруг она не одна и какой-нибудь большерукий и с унылым носом тоже сидит и бубнит у елки?

Но дверь не заперта. Я не звонил. Я просто вошел, и извозчик с мальчишкой тоже. Они быстро исчезли. Мальчишке я сунул в карман пряники, а извозчику дал на чай, чтобы отвез его к его тетке. Пусть и у них будет неожиданный праздник. Я великодушен до конца.

А она... нет, я не ошибся... Я даже не думал, что это будет так красиво.

Одна стена — самая прямая — была покрыта вылинявшим текинским ковром. Под скатом висело большое овальное зеркало. В нем отражалась тахта, трогательный комодик, — на

гнутых ножках, маленький секретер. Белая широкая волна занавески закрывала низкое и длинное окно, а на столе стояла прелестная елочка в серебряных нитях, со всей этой пестрой ерундой, и посредине — девушка с прозрачными глазами, в белом платье, как ласковый и светлый стеклянный лучик, над которым даже страшно заплакать, — он может сломаться от слез.

Но я выдержал стиль до конца.

— Забрел случайно на огонек в этот дом, — сказал я. — Сегодня Сочельник... Разрешите мне погреться у вашей елки и съесть кусочек королевского пирога?

Круглый золотистый пирог — торт ее собственного изготовления — с какой-то невообразимой начинкой и лепными украшениями — стоял на столе, накрытом вышитой скатертью. Тут же были еще разные скромные вещи: бутылка дешевого ягодного вина и один тяжелый старинный бокал. Один?

— Я вас не ждала, — сказала она, — Я... никогда не думала....

О нет, она меня ждала, но не смела надеяться. Я слишком хорошо знаю блеск женских глаз. Теперь оставалось еще одно, последнее. Я уверенно подошел к столу, взмахнул приготовленным ножом и сам отрезал кусок этого необычайного произведения кулинарии. Ведь важно только, чтобы человеком овладело вдохновение — тогда счастье само идет в руки Я едва успел переложить кусок на тарелку — и уже выскользнул из-под пальцев черный, солдатский твердый боб. Но я не дал ему стукнуться о фарфор. Незаметные движения пальцев. На тарелке зазвенел настоящий «королевский» золотой. Она даже вскрикнула удивленно — я видел по глазам, что сейчас она готова поверить всему. — В сущности, тут не было ничего удивительного: это был старинный полуимпериал, который я недавно нашел, роясь в дедушкином столе, а заменить одну вещь другой, когда они обе у меня в руке — это не трюк.

— Теперь вы видите — что я настоящий король?

— Вижу...

— Я только забыл надеть камзол и явился во фраке...

А потом, как и полагается в сказках, все появилось ,как по волшебству — по одному моему мановению руки. Впрочем, пришлось не колдовать руками, а здорово повозиться над

всеми этими пакетами. Ландыши зимою отличаются умилительной свежестью, и вместе с елочной смолой — красивый аккорд.

Я поставил на стол корзинку с веселыми мандаринами и лиловым виноградом, мой любимый вермут, — немножко дамское вино, закуски, конфеты, пряники . . . А для нее — тоненькая золотая цепочка, на которой висела жемчужная слезинка. Мне давно нравился у ювелира этот кулон, но я не знал, кому подарить его — для этого надо быть такой вот белой девушкой, как моя Метелочка.

Метелочкой я назвал ее потом, когда мы уселись уже на полу, на ковре и обложились подушками. Тянулись за пряниками к столу, а вино поставили рядом с тобой.

— Как вас зовут, неизвестный король? — спросила она, и в глазах ее потонула счастливая улыбка.

— Король всегда остается королем — зачем придумывать ему имя? А вот вас я назову своей Метелицей — нет, Метелочкой.

— Но когда же мы откроем с вами бал?

У конфетного дома были очень тонкие стены. Рядом, в какой-то квартире играл грамофон. Вальс доносился приглушенно и нежно, а Метелочка танцевала, как настоящая снежинка — удивительно легко.

Она рассказала мне все, что мне захотелось узнать. Метелочку закружила общая наша — пурга. Выкинула вот сюда, в этот город.Тут жила дальняя бабушка или тетка. В пурге погибли — или потерялись — все. Дальней бабушки тоже не стало. Метелочка перетащила из серой холодной квартиры в эту мансарду комодик, большое зеркало и потертый ковер. А шубку она сшила из старой ротонды, тепло и уютно. Метелочка танцует — танцевала всегда. Когда-то, в украинской усадьбе, Метелочку называли бабочкой. А теперь она старательно выделывает фуэтэ. Это совсем не трудно, и в новом балете ей обещали небольшую роль . . . Правда, она получает смешное маленькое жалованье, но . . . Есть такие маленькие хрупкие девушки с прозрачными глазами, которые пробивают себе дорогу в жизнь. Они умеют сурово хмурить бровки и выскальзывают из слишком поспешных рук. Но они изголодались по сказке. И я дал ей — эту сказку. Я, лютая Ежикина «тигра» тоже, в сущности, сентиментальный человек. Правда, не со всеми. Не с Надин — о, нет. Но тут на тонень-

кой шейке качалась моя жемчужинка — и я поцеловал даже только ее.

— Вот, Метелочка, слушайте, что говорит сказочный король: не смейте, — слышите — никогда не смейте — растаять. Оставайтесь всегда такой же — белой игольной, белой Метелицей-Метелочкой. Слышите?

Метелочка тоже пила вермут. У нее, наверно, чуть шумит в голове. Она прижалась к моему плечу, и в глазах покачиваются огоньки свеч ...

— Вы придете ко мне еще, святочный король?

— Нет, Метелочка.

Это я говорю не ей, а — самому себе — и вот этим белым свечкам. Но она слишком счастлива, чтобы почувствовать боль.

— Почему? Потому, что я не приготовила вам сегодня короны? Но ведь будет же еще когда-нибудь Рождество... Я тоже стану королевой — нет, я буду, я останусь белой Метелицей — принцессой. Я пришлю за вами вороных коней в голубой сетке, с бубенцами в ушах — и вы приедете в мой дворец... и сделаете меня своей королевой.

— Я приеду, Метелочка. Но только во дворец. Слышите?

Мне кажется, что она не слышала. Она заснула на моем плече и улыбалась так, как улыбаются только сказкам. Я уложил ее на диван, прикрыл шубкой и тихонько вышел. Спустился по лестнице, оглянулся. В голубоватом окне поблескивали огоньки неслышно догорающих свечек. Занималось рождественское утро.

* * *

— И я больше не приду к ней, — сказал я вечером того же дня Ежику — ты понимаешь почему?

Она внимательно наклонила головку, и на губах ее появилась такая же улыбка, как у Метелочки — хрупкая завороженность мечты.

— Потому что ты хочешь сохранить сказку? Понимаю. Но — в сказках бывают разные вещи. Иногда нищий становится королем, а иногда — король — нищим.

Она почему-то вздохнула и прибавила:

— Ах, если бы ты всегда был таким человеком!

* * *

Расскажи, веселый гномик, мы дадим тебе орехов — не простых, а золоченых с нашей елки соберем! Расскажи еще что было в королевстве в этот вечер, когда путник у порога оказался королем.

— Мой рассказ не будет долог — может быть, немного странен — не судите раньше срока, не дослушавши конца. . . С королем пришедший нищий заблудился средь тумана, средь метели очутился пред воротами дворца. Постучался. Их открыли. На пороге нищий замер. Елка залита огнями, хрусталем блестит паркет . . . Вьются пары на паркете: принцы, рыцари и дамы, и красивее принцессы никого на свете нет.

— Вот пришел к нам гость нежданный, — вдруг воскликнула принцесса — для которого отложен был последний мной кусок· На — возьми — в нем много сладких и восточных специй пряных, — повара спекли в Сочельник замечательный пирог.

Нищий взял его. Голодный, под лохмотьями дрожащий, он стоял в смущеньи сильном пред наряженной толпой. И, едва лишь разломивши, он увидел настоящий, вдруг сверкнувший средь начинки — королевский золотой.

Счастье даже в сказке — редко. Счастье мы повсюду ищем — где узнаем — потеряем, где не знаем — там найдем . . . И случилось, что в Сочельник — проходящий мимо нищий был принцессою объявлен в этот вечер — королем.

— Посмотри, — принцесса молвит, — как горят огни на елке· Почему ты так печален, и не скажешь ничего?

— Мне лицо до крови секли эти хвойные иголки, когда шел однажды ночью я в лесу под Рождество.

— Посмотри, твоя корона вся алмазами сверкает, а жемчужины застыли, как весенний талый снег . . .

— Да, в снегу алмазном этом нас немало замерзает, не один уже бродяжка загубил в снегу свой век.

— Неужели ты не слышишь, как поют волшебно скрипки, неужели ты ни разу на балу не танцевал?

— Иногда случалось слышать — вой волков, голодных диких — только даже с горя в жизни я ни разу не плясал.

— Но ведь ты — король сегодня! У тебя есть королевство... Пей вино — не съел ты даже королевский свой пирог . . .

— Не горят у нищих елки, я не слышал сказок в детстве, я всегда ходил голодный . . . в рот не лезет мне кусок!

... Так померк веселый праздник — и над ним-ли, иль над нищим, из прекрасных глаз принцессы тихо капнула слеза... Кто знает, что такое — красота, для сказок — лишний...

И безжизненны и серы были нищего глаза.

* * *

Не буду преувеличивать. Я очень редко вспоминал о Метелочке. Некоторая сентиментальность, свойственная мне иногда, к счастью, проходит бесследно, иначе я давно бы разорился. Мимо конфетного дома я не ходил больше. На балет не пошел нарочно. Не нужно переносить сказок в жизнь — они хороши только, как случайные вдохновенные вспышки, а для жизни есть и дела, и Надин, и многое другое. Приятным удовлетворением остался мой «королевский» жест — столь же великодушный, сколь и ненужный, может быть. Но что касается остального, то я собираю время от времени ненужные уже влюбленные письма, и, так же, как старые контракты, бросаю их в корзинку. Ежик называет ее «кладбищем погибших надежд».

Ежик сохранилась удивительно долго. Больше всего был поражен этим я сам. Странно, до чего может дойти умная женщина. Она походила на фонтан, в котором я сверкал, как солнце, а она была водой, отражающей мои лучи, но когда я хотел заглянуть поближе, — то видел себя не прекрасным Нарциссом, а какой-то исковерканной рожей — от ломающихся струй. В сущности, в один из острых приступов одиночества я мог бы жениться на ней. Она нисколько не мешала бы моим привычкам и взглядам. Но, к счастью, у нее был муж, а кроме того, я редко чувствую одиночество, потому что слишком привык к нему. Поэтому я не женился ни на Ежике, ни на Надин, ни на Зоке, Коке и... имя же им легион. Постепенно этот легион растаял до ничтожного взвода. Может быть, рано еще говорить о старости, но — есть уже и складки, и морщинки, и Ежик часто говорит мне: «промой глаза». Нужно беречь свои силы — доктора запретили мне и пить, и курить, и скоро совсем уморят с голоду. Легион растаял еще и потому, что я больше не могу швыряться деньгами — в сущности говоря, все мои дела держатся только на том, что у меня была прекрасная репутация. Бобры выносились, но выглядят еще солидно, и когда-нибудь я получу на-

следство от запоздалой тетки . . . Я часто раздражаюсь, ворчу и бываю несправедлив.

Ежик позвонила по телефону:

— Что ты скажешь об этом объявлении?

— Каком?

— В газете.

— Принципиально не читаю вранья . . . Пора бы знать.

— Иногда не мешает . . . посмотри — на последней странице . . .

Мне нечего было делать, и Ежик никогда не говорит зря. Я придумывал уже язвительные слова, которые скажу ей, терпеливо просматривая жирные строки о том, что рождественские подарки надо покупать только в целофановой обертке, и нет на свете ничего прочнее калош . . . и вдруг. Положим, не вдруг. Я стал читать его также равнодушно, как и все остальное, и только прочтя, остановился и начал снова...

«Святочный король, обещавший приехать к Метелочке во дворец! Лошади будут ждать в Сочельник, у конфетного дома».

Я долго ходил из угла в угол, пока не вспомнил — все. Сперва — что-то очень ласковое и милое. Потом — чувство досады — зачем? Сколько лет — восемь, десять — больше? Тогда ей было лет восемнадцать — пожалуй. Так помнить, после стольких лет . . . Терпеть не могу сентиментальных женщин.

Позвонил:

— Что ты думаешь?

— Относительно чего?

Ежик притворяется непонимающей, и это меня злит.

— Да вот относительно этого дурацкого объявления . . .

Вижу сквозь телефонную трубку, вижу, как она пожимает плечами!

— Оно идет уже две недели . . . Послезавтра—Сочельник... вечер сказок . . .

— Очень они мне нужны!

— Насколько я помню, короли всегда держали свое королевское слово . . . но это, понятно, к тебе не относится.

Я бросил трубку. Обычная ее манера. Сперва загонит в тупик, а потом — делает кивок. А, ведь, самой до смерти хочется узнать, чем кончится эта сказка.

Разумеется, я не поеду. Разумеется! Смешно даже говорить .... О чем я с ней буду разговаривать? Наверно, вышла замуж, дети и лысый муж. Стягивается корсетом и ... и за эту госпожу Метелицу я отдам свою чудесную Метелочку? Один раз сделал глупость, так уж в другой ...

* * *

Знаешь, гномик, эта сказка не годилась бы под елку — почему ты нам в Сочельник вдруг о нищих рассказал?

— Для того, чтобы каждый помнил — будь он в рубище или в шелке, что в Сочельник правят сказки самый праздничный свой бал. Для того, чтоб каждый помнил, что в чудесном нашем мире надо раз в году, хотя бы, и о сердце вспоминать! Потому что — сказки будут ... Потому что — сказки — были ... И всегда их назначенье — это сердце согревать!

* * *

Я старался думать о самых безразличных вещах. Но уже серые сумерки за окном подхватили и унесли. Как хорошо, что они так похожи, неизменны, как ласка. И снежные хлопья, снежный туман — даже легкая, колдовская, весело пляшущая метелица. И, конечно, заливаются бубенчики, радужная россыпь на витринах, пакеты в руках и на бульварах заснеженные елки. Еще вчера я этого не видел.

А конфетный дом — такой же, как был. Даже зеленые ставни, не закрывавшиеся никогда. И тот же нетронутый снег на ступенях.

Перед домом — большие просторные сани. Пара вороных под голубой сеткой. Бубенчики. Серебряный набор. И настоящий кучер с красным кушаком. Картинка, вырезанная из старой книжки. Кучер обернулся, приподнял шапку, лихо отстегнул медвежью полость.

— Пожалуйте, ваше сиятельство.

— А ты откуда знаешь, что это я?

Ухмыльнулся.

— Барыня сказала: подойдет к дому, в сумерки, красивый, высокий из себя ... остановится. Его и привези.

Я думаю, что это комплимент. Перед тем, как пойти, я долго рассматривал себя в зеркало. Уселся в сани, ноги приятно погрузились в теплый мех. Осторожно, чтобы не смять, засунул под него и букетик ландышей в белой папиросной бумаге — как тогда. Сам на себя злился, а купил. Приятно выговорить давно забытое «трогай».

Вороные оказались совсем неплохими рысаками. На городских улицах натягивали вожжи, и как-то необычайно быстро разостлалось гладкое шоссе, откатывалось назад в широком махе. Похоже на оттепель — безветренно и тихо. Закрыв глаза, я старался не думать, — просто так, помечтать ... не о том, что будет, а о дальней, навсегда потерянной дороге, по которой тоже мчались гнедые, — пара гнедых ...

— Далеко еще?

— Не ... сюда ...

Свернули в боковую лесную дорогу. Еще ... и вдруг — громадная аллея, ворота ... белый дом с колоннами, с отлогими ступенями овального подъезда, в черных переплетах сучьев над белым переплетом застекленной террасы, в мягком падающем снеге ... снег даже как-то особенно ложится на него, как будто только порхает ласково, боясь спугнуть это очарование давно забытой картинки ... или это белая метелица кружит меня, и колдует в снегу?

Дернулись бубенцы, залились и смолкли. Но сон продолжался дальше. В этом сне я поднялся по ступеням, сбросил в передней шубу, — потрепанные свои бобры, поднялся на несколько ступенек выше; деревянные перила, панели, оленьи рога ... штучный паркет, мягко отсвечивающая мебель, мягкий, теплый свет и запах цветов и веселой хвои. И Метелочка — как не узнать!

Она была в белом платье — такая же тоненькая, с большими прозрачными грустными и сияющими глазами, и побледневшей, но ненакрашенной улыбкой. А на серебряном кружеве, закрывавшем шею, качалась тоненькая золотая цепочка с подвешенной жемчужинкой — той самой. И больше в доме никого не было. Только горела громадная елка в гостиной, наряженная пестро, и звенели на ней серебряные колокольчики и ослепительно голубые и алые шары.

На столе стоял золотистый пышный торт.

— Случайному гостю, — сказала Метелочка, подавая мне золоченый нож.

Я съел свой кусок до конца, до последней крошки. Ел медленно, пригубливая из бокала. Надо было найти какие-то нужные слова. Но в моем куске не было ничего — ни боба, ни золотого, ни даже серебряной монетки.

— Он все-таки у меня, — сказала Метелочка, и подняла со своей тарелки зазвеневший, сверкающий кружочек, — ваш золотой. Я думала, что ... это повторится. Но я его вам верну. Ведь, раз я королева, то могу избрать себе короля. Почему у вас так сдвинулись брови?

Я не задавал вопросов. Она рассказывала сама, путанно, сбивчивыми штрихами — о том, что будет завтра, когда приедут все гости — Сочельник она хотела провести одна, или... со случайным гостем ... и о том, что было давно — о, так ужасно давно, в белую метельную ночь, в сверкающее рождественское утро, когда она плакала от счастья, потому что поверила в сказку, и ... Я думаю, что она часто плакала потом.

Да, женщины мелочны и сентиментальны. Каждый Сочельник — сколько их было — Метелочка надевала жемчужную капельку — хотя у нее был уже хороший жемчуг — и вынимала из шкатулки золотой полуимпериал — тот, дедушкин, — вот этот. Говорят, что таланту простительна сентиментальность. Может быть. А он у нее был. Иначе она не поехала бы за границу, не стала бы выступать уже солисткой, и не стали бы называть ее «второй Павловой». Правда, я не читаю газет. Я не хожу в театр. В балет — просто боялся ходить — с тех пор. Но, конечно, я слышал про Метелочку — может быть, даже видел ее портрет — под гримом не узнать, а я ведь не спросил ее имени.

— Мне, кажется, что счастье всегда шло со мною рядом. — говорит Метелочка, и ей очень хочется поверить, что это именно так.

— Успех, карьера, деньги ... Я даже чуть-чуть не вышла замуж ... не хотела только бросать сцены. Я не могу не танцевать — разве тогда я оставалась бы Метелочкой? И вдруг — гастролировала в Австралии — телеграмма. От нотариуса. Оказывается, какой-то совсем неизвестный дядя, оставил мне вот этот дом. Он очень хороший, я сразу полюбила его. У меня были деньги, но эти вечные отели ... Захотелось провести Рождество по-настоящему — ах, эти спрятанные в самом уголочке души старые наши усадьбы, — мы никуда не уйдем

от них, и слава Богу . . . Я дам здесь два спектакля . . . а потом . . . не знаю . . . Вы прочли мое объявление в газете? Я так боялась . . . Ведь вас могло и не быть . . . здесь . . .

Она тревожно смотрит на меня и в прозрачных глазах дрожит и переливается ждущая, для нее самой неожиданно ждущая улыбка.

Я много говорил в этот вечер. Я ходил по большой гостиной, по мягкому персидскому ковру, и шагов не было слышно, но на красавице-елке жалобно звенели стеклянные хрупкие шары. В кресле съежилась тоненькая фигурка, и какие-то лебединые, поющие на изломах руки белели сиротливо и нежно, как брошенные крылья. Я говорил много, но не знаю — про себя или вслух. Может быть, просто думал. Мне хотелось кричать. Я не был королем в этот вечер, потому что я не король, и не знаю, был ли им когда-нибудь. Я сделал только один королевский жест — ведь, больше мне ничего не оставалось делать — я не тронул в этот вечер Метелочку, как и в тот. Как я мог? Зачем?

Конечно, жизнь не заключается только в детской влюбленности, в каком-то там чувстве, в сказке, наконец, оставившей след, белую ниточку в душе. Было прошлое и у нее, а у меня. . . легион. Я забыл — она помнила дольше. Она вспомнила, — приехал я . . . И на нашей белой ниточке, протянувшейся снова, завязался новый, горький узелок. Мы оба же взрослые люди! Мы знаем и видели жизнь — достаточно, о, слишком хорошо. Мы ценим сказки — может быть, потому, что они не сбываются никогда. А если дать им сбыться, дать ниточке окрепнуть, дать белой метелице закружить, заколдовать, заплести порхающий узор? . .

Что я могу дать Метелочке — бывший король? Вот эту свою, смертельную усталость. Ворчливое одиночество. И . . . скуку?

— Тебе пора переключаться, — сказала как-то недавно Ежик. — Пока тебе еще не надо шаркающих туфель, — но не забывай, что скоро придется их надеть . . .

Я возмутился,

— Что же это: старость? И скажи мне, наконец, правду: ты меня любила когда-нибудь?

— Нет, ты всегда будешь молодым. А вот душа у тебя начинает шаркать. Относительно же любви . . . Ты, конечно, не знаешь, что тоже был моим королем . . . мужчины этого ни-

когда не понимают. Но даже современная женщина может обладать смертной добродетелью: оставаться верной. Даже тому королю, который отдал напрокат свою корону, прокутил казну, расшвырял угодья и потерял не только престол, но и дорогу в свое королевство . . . Может быть, именно потому, что нельзя изменять королю, когда он стал нищим . . .

Я так рассердился, что два месяца не разговаривал с Ежиком. А, может быть, она и права. Даже, наверное, права. Ужасающе права. Ежик до ужаса умная женщина и, между прочим, хороший архитектор. Она умеет строить не только воздушные замки . . .

Я могу простить себе многое — но не забуду этой дрожащей, побледневшей улыбки на губах Метелочки к концу моего монолога.

— Так, — сказала она, когда я кончил, чуть слышным, падающим вздохом, как вспорхнувшая и уроненная снежинка. Удивительная способность женщины: коротким словом замыкать жизнь. — Значит, вы, мой святочный король, больше не верите сказкам . . . больше не можете жить ими . . . как нищий, который не мог поверить тому, что избран королем. Но вы для меня всегда останетесь им . . . Все равно, будет ли закончена сказка, или . . . или просто растает в снежном тумане, как эта вот белая метелица.

Вот и все, что могла мне ответить Метелочка. Стойкая, светлая Метелочка, бывшая гораздо богаче меня — потому что она умела не терять, не разбрасывать, а спрятать, сохранить и пронести через всю жизнь озаренную мечту.

Я не мог рассказать ей сам в этот вечер никакой сказки. Но я читал ей их — из большой старинной книги, лежавшей на столе у елки.

«Я не знаю лучше сказок — Христиана Андерсена . . . Мы усядемся под елку: грызть орехи и болтать. И вино в бокалах тонких, в кружевном разбрызге пены. будет так же, как и сказки, и кружить, и колдовать . . .»

Я простился с Метелочкой у перил деревянной лестницы, которая вела наверх. Прощался, зная, что она меня не увидит больше. Я уеду рано утром — потихоньку, и на этот раз — совсем. В это рождественское утро, как и тогда, Метелочка тоже, быть может, прольет несколько прозрачных слезинок. И сохранит их нежную, ласковую боль. Я не мог поцеловать ее. Я только прикоснулся губами к моей жемчу-

жинке, затерявшейся в кружеве платья, и смотрел вслед прошелестевшей по ступенькам тонкой фигурке знаменитой балерины.

Если Метелочка когда-нибудь перелистает эту книгу до конца, — собрание сказок Андерсена, — то на последней, белой уже странице она прочтет то, что я написал ей на прощанье в тот вечер, когда остался один в померкшей гостиной, у давно догоревшей елки с белой метелицей за синим окном:

. . . Но, может быть, и в сказке не найдем того, что в жизни пламенно мы ищем . . . Король в отрепьях будет королем, бедняк и во дворце остался нищим . . . Тяжелой книге много, много лет . . . она звучит такой усталой скрипкой . . .

И если ничего на свете нет — есть сказка с примиряющей улыбкой!

1936 г. Рига.

СКАЗКА О МАЛЕНЬКОМ СВЕРЧКЕ И О БОЛЬШОМ ЧЕЛОВЕКЕ

Это маленькая и грустная история, а начинается она так: цик, цик скррр...

В одном городе был большой старый дом. Серый, с высокими окнами в арках, с тяжелой, всегда запертой дверью, около которой висел молоток с головой медведя. Но висел он совершенно напрасно, потому что она никогда не открывалась.

Маленький серый сверчок шел по улице и дрожал от холода. Сверчки, как известно, больше всего любят тепло. Поэтому, после долгого размышления, он забрался в дом, и принялся осматриваться. Там бесшумно ходили лакеи и стирали пыль. Они говорили очень мало и только шопотом. А пыли было так много, что они вытирали ее целый день. Впрочем, больше им ничего не оставалось делать. Но за то там была большая угловая комната, где всегда горел камин, и за решеткой нежились прекрасные теплые угольки с оранжевыми и синими огоньками. В комнате жил Большой Человек, и сверчок переселился туда.

Сперва он просто грелся: сидел на решетке, поводил усиками и благодарно трещал: цик, цик скррр. Но потом — сверчки очень любопытны — начал разглядывать все кругом. Ему очень нравилась обстановка — тяжелые шкафы с книгами, штофные обои, старинное оружие, на котором играли каменные отблески, мягкие, теплые ковры. И огромный письменный стол. Перед ним стояло кресло с высокой спинкой и там сидел Человек. А за столом, во всю стену было большое окно, на котором из цветных стекол была состав-

лена картина: капелла, где рыцарь прощался с дамой. И кругом шла надпись готическими буквами: «рыцарь ушел и не вернулся». Иногда скупое зимнее солнце заглядывало в окно и загоралось на стеклах, и это было очень красиво.

Но сверчок проводил перед камином только пол-дня, остальное время он тратит на исследование. И дошел однажды даже до того, что забрался на письменный стол. Его очень интересовал Большой Человек. Но книги, лежавшие на столе, очень рассердились.

— Чего тебе здесь надо, глупыш? — спросили они.

— Я хочу посмотреть на Большого Человека, — отвечал сверчок, и скромно подвинулся поближе.

— Глупости, — ответили книги, — он смотрит только на нас.

И действительно — у Человека были странные, как будто совсем пустые глаза. Сверчок не мог долго смотреть на него — ему стало холодно и он побежал к камину.

А там, усевшись на решетку, отогрелся и принялся раздумывать. Он делал отчаянные усилия, но у него ничего не выходило. Думать — это совсем не сверчковое дело. Поэтому он побежал посоветоваться. К крысе Хруп Хруп, знаменитой крысе, жившей в сером доме. Она была стара и почтенна и у нее был седой хвост. Сверчок, как полагается, расшаркался спереди и сзади, пошевелил усиками и спросил, почему у Большого Человека такие странные глаза.

— Этого никто не может понять. — ответила крыса, — тронутая его вежливостью. — Дело в том, что у Человека есть душа. Что это такое — никто не знает. Даже сами люди. Но у него она есть, и это так, и вот в этой то душе у него нет ничего. Может быть, только пыль старых книг — но разве ее можно принять во внимание? Поэтому у него такие пустые холодные глаза. Не советую тебе смотреть на них долго — замерзнешь. Да он никогда и не заметит тебя. Это доступно только нам, ученым крысам и мышам — мы знаем, что творится в старых домах!

И тут она замолчала, и если бы даже отрезать ей хвост, не произнесла бы ни слова дальше, потому, что она действительно была ученой крысой, и знала, что непосвященным нельзя открывать тайн.

Сверчок вернулся на свою каменную решетку. Он твердо решил заглянуть сегодня ночью в глаза Большому Человеку. Когда он залез на письменный стол, книги зашумели пожелтевшими страницами, он испугался, метнулся в сторону и попал в чернильницу. Правда, через секунду вылетел оттуда, но порядочно измазался Однако ему удалось благополучно взобраться по ручке кресла на спинку, совсем близко около лица Большого Человека. Тот сидел и смотрел в окно. За ним лежал белый, чистый снег, и на нем вырисовывалась картина из разноцветных кусочков стекла: капелла, где рыцарь прощался с дамой, а кругом шла надпись готическими буквами: «рыцарь ушел и не вернулся».

И тут сверчок заметил совсем новое в глазах Человека: грусть. Это так его удивило, что он не удержался и проскрипел свое обычное: цик, цик скррр. А Человек обернулся — и увидел, совсем близко увидел, маленького смешного сверчка, вымазанного чернилами.

Тогда произошла совсем уже странная вещь: Человек улыбнулся. Да, на самом деле — ласковая улыбка скользнула по его лицу и приподняла опущенные уголки губ. А в глазах мелькнуло воспоминание: одинокие долгие вечера перед камином и чей-то настойчивый, заботливый треск.

Человек протянул руку и, взяв сверчка на ладонь, поднес его совсем близко к лицу. Боже мой, как тот сперва испугался! Но пальцы прикоснулись к нему так осторожно и ласково, как раньше он видел — ласкали старинные расшитые шелка, затканные невиданными цветами и драконами, и персидские миниатюры на небесной эмали.

Человек смотрел на него и улыбался. И сверчок не мог больше выдержать, он хотел сказать ему так много, так много, что мог только прозвенеть совсем тихо — и все-таки только одно: цик, цик скррр . . .

И тогда Большой Человек нагнулся и поцеловал маленького смешного сверчка. Но это было для него уже слишком много — у него не выдержало маленькое, глупое сердце. Он умер.

Цик, цик скррр . . .

1926 г. Рига.

ПРЯНИЧНОЕ СЕРДЦЕ

Будет снег ложиться сыпью звездной, будут елки таять в горьких смолах, синь чертить в стекле узор морозный, ангелы звенеть в небесных хорах, потому что в праздник этот тихий, снежный и затканный синевою, странные порой мерцают лики в пахнущей далеким лесом хвое, для того, чтоб в гомоне и пыли сердце выжигающих нам будней, люди бы о чуде не забыли, и о том, что это чудо — будет! Пусть у многих поникают плечи, и глаза их ждать уже устали, но и им засветит этот вечер, и улыбкой растворит печали. Было-ль это, есть ли, или будет, пусть звучит молитвенною песней, и пока на свете живы люди, сказки им звучат всего чудесней!

* * *

Я всегда помнил Ию в одном и том же платье: черное, с высоким воротником, с серой клетчатой отделкой и алым атласным платочком в кармашке на груди. Может быть, у нее не было другого: каблуки ее туфель бывали часто стоптаны, а чулки заштопаны — над этим посмеивались втихомолку наши артистки. Но это не могло умалить Ииной гордости: она закидывала назад пушистую пепельную головку, суживала презрительно пламенные черные глаза и отвечала ядовито и резко. Она не была злой — в этом прорывалась страстность.

Она не была артисткой, хотя в жизни больше всего походила именно на нее, ничуть не играя: самобытность, часто казавшаяся просто оригинальностью, острое чувство красок. Как вместе с этим умещалась в ней поразительная практичность и деловитость — не знаю, эта загадка заинтересовала меня, из-за нее я стал внимательнее присматриваться к Ие.

Она заведывала всем хозяйством театра, реквизитом, и

монтировала пьесы. Режиссер долго колебался, прежде чем дать ей эту работу: обыкновенно ее делают мужчины. Но Ия, взяв себе в помощники старого боксера с внушительными мускулами, шутя поднимавшего целую кулису, умела устраивать из трех имеющихся у нас павильонов по крайней мере десять. Режиссер мог спокойно положиться на нее.

Впрочем, на нее полагались все: Ия для каждого должна была что-то сделать, принести, напомнить, устроить — от просроченного паспорта до забытого гримировального карандаша. Она любезно соглашалась на всевозможные услуги, и ничего не говорила, когда премьерша, только что целовавшая ее за принесенную откуда-то кружевную накидку для бенефисного туалета, потом замечала вскользь, что, конечно, пригласила бы ее к себе на ужин, но не может принять всех...

В театре я бывал потому, что писал рецензии: среди артистов, наполовину из любителей, было много старых друзей. С Ией я любил разговаривать: она превосходно владела английским языком, разбиралась в любой литературе и писала потихоньку ломанные, странные стихи, походившие на декадентские изыски, или песенки дизез. Может быть это была дань сентиментальности или молодости. Я предложил напечатать их в газете, но она отказалась.

В этом маленьком театрике интересны были не спектакли, а кулисы: не кулисы, а труппа. Режиссер хотел создать эмигрантский Художественный театр и наследство от старой тетки, полученное им, таяло очень быстро. Впрочем, он не огорчался этим: старый моряк, с чарующими манерами, замечательный образец джентельмена, с седой гофрированной головой, походивший на Моцарта, он умел жить, понимать и ценить жизнь. Доктора сказали ему, что он проживет еще очень недолго. Пока же он искренно наслаждался собранной им человеческой кунсткамерой.

В труппе были две красавицы, отчаянно враждовавшие между собой: экзотическая брюнетка и такая же яркая блондинка. Был славный, милый юноша из старообрядческой семьи, красневший и смущавшийся; корнет Добровольческой армии с лихо закрученными усиками, а ля какой-то фильмовый артист, уверявший, что не может выходить на сцену без стакана водки, потому что у него иначе нет вдохновения; сухая и костлявая баронесса, замечательно играв-

шая старух и старых дев; маленькая инженю с большой независимостью и довольно вульгарными манерами; несколько бесцветных, но предприимчивых и готовых на все молодых людей — и, наконец, премьер — бывший гвардейский ротмистр, «Архангел Гавриил», как его прозвала Ия, появлявшийся всегда неизменно с белым борзым, которого звал коротко и резко: «Гей». Лично мне «Архангел» не нравился: женщины находили его «до смерти интересным» и сходили с ума.

Комический элемент представляли двое: вечно пьяный, красноносый толстяк и маленький розовый немчик, со свиной мордочкой. По профессии он был пирожником, и держал в здании театра, внизу, чистую беленькую булочную, где кормил многих голодных актеров, и с благоговейным ужасом вздыхал, когда комик являлся туда с бутылкой водки в кармане и требовал горячих пирожков на закуску.

Может быть, именно этот немчик больше всех любил и понимал театр. Он не пропускал ни одного представления, следил за каждой выходной ролью с затаенным дыханием, и когда однажды режиссер, мягко улыбнувшись, пригласил его выступить статистом в костюмной пьесе, то это, я думаю, был счастливейший день в его жизни. Он так волновался, что побледнели даже его розовые щечки. Прозвали его «Кюммелькухен», по специальности, и все знали, что он влюблен в Ию — очень скромно, застенчиво и совершенно безнадежно.

Влюбленности в труппе были наперечет: лихие усики корнета очень часто склонялись над рукой знойной брюнетки, Архангел Гавриил снисходительно ухаживал за всеми, но с блондинкой у него был настоящий роман, а Ия . . . Ия любила четырех — Архангела, режиссера, Кюммелькухена и меня.

Архангела — это понятно: красавец, шармер, с громкой фамилией, недюжинным драматическим талантом. Может быть, в этом большую роль играло и самолюбие. Архангел постоянно подчеркивал, что встретить умную женщину — исключение, и советовался с ней относительно ролей.

К Кюммелькухену Ия относилась тепло, так же, как к его теплым булочкам: есть люди, от которых становится уютнее жить.

Режиссером она восхищалась: манерами, головой Моцарта, и чудесными морскими рассказами, с большой долей роман-

тики и легкой беззлобной иронией человека, доживающего последние дни.

За что она любила меня — не знаю. Может быть, потому, что я был писатель. Я часто подсмеивался над ней, подстегивал, чтобы посмотреть, что из этого выйдет: мне нравилась в Ие твердая душа и какая-то своя, еще, может быть, даже не осознанная линия. Я знал, что она работает не только в театре: Ия давала уроки, воспитывала младшего брата — ее отец погиб во время революции — плела какие-то удивительные кружева для большого магазина, а свободное время посвящала совершенно разнородным вещам: истории искусств, декоративной живописи, и . . . биржевым курсам.

Я однажды поймал ее за этим занятием: она сидела в антракте в уборной и, вытащив из-за алого платочка газетную вырезку, сличала пункты каких-то акций.

— Женщина неограниченных возможностей, для чего вам это понадобилось?

Ия серьезно посмотрела на меня, и глаза ее стали совсем стальными.

— Неужели вы думаете, что я всю жизнь проживу вот так — в штопаных чулках, в нашем театре? Я хочу добиться своего — любой ценой. Хочу работать, так, как люблю, иметь хороший, настоящий дом. Обязательно особняк, в саду, с большой террасой, да, и с львами на воротах, с холлем, с резной деревянной лестницей. Чтобы был у меня натертый паркет, и ковры на стенах, и голубовато-серый, дымчатый кабинет с громадным окном во всю стену, а за ним непременно разлапые яркие клены. Смешно? Дворянские мечтанья? Я выросла в такой усадьбе, и хочу иметь еще лучше. И буду. Сейчас я живу в меблированной комнате, а брат ютится в каком-то закутке рядом. Но это ничего. Я добьюсь У меня нет особенных талантов. Я не артистка, не писательница, как вы, не художница. Я даже не так красива, как многие другие — о да, не возражайте: вы считаете меня оригинальной, потому что у меня пепельные волосы и черные глаза. Но этого мало. У меня нет настоящего женского шарма, из-за которого мужчины сходят с ума. Я не выйду замуж, а если выйду, то разведусь или сбегу. Я не найду миллионера, и не хочу. Я должна сама добиться своего, иначе перестану уважать себя. Я очень трезво смотрю на жизнь. Вот только . . . с сердцем не

могу сладить. но это пройдет. А голова у меня в порядке. Ну скажите сами, на что я могу рассчитывать? У меня есть способность к декорированию, пожалуй, даже к режиссерству. И я учусь. Я читаю много книг, хожу во все театры, учусь везде, в каждой витрине, в каждой декорации. Я хорошо знаю английский язык — благодаря гувернантке в детстве. Это тоже поможет, если удастся уехать за границу. Здесь у нас маленький город, много не сделаешь. И есть еще: умею комбинировать, умею играть. Может быть, вам это покажется странным: у меня есть знакомый биржевой маклер, старый и мудрый, как Соломон: иногда мы сидим с ним весь вечер, когда у меня свободный спектакль. Я перевожу ему американские газеты, а он посвящает меня в тайны ремесла. Я скопила деньги, правда пока еще очень маленькую сумму, и хочу начать играть. Чем это хуже остального?

— Во всяком случае оригинально.

Ия посмотрела на меня как-то странно и пожала плечами.

— Вот вы все так ... оригинально ... но ведь я не хочу во что бы то ни стало, быть оригинальной. У меня для этого нет времени. Если у меня выходит все иначе, чем у других, значит я или ненормальная или действительно непохожая. А может быть, у меня все сломано внутри ,и я совсем не силой держусь, а только выдержкой? Откуда брать силу? Только из себя, отгораживаясь от других? Мне иногда хочется совсем простых вещей — с братом нельзя еще говорить — ведь он совсем мальчик ...

— Простите — сколько вам лет, Ия?

— Двадцать четыре. Немного, но уже достаточно. Я видела много тяжелого, конечно, дело не в том: это, может быть, пошло и на пользу: но у меня есть одна странная особенность: меня никто никогда не любил. Поверьте, я не рисуюсь. Было несколько увлечений ... но и люди не те, и чувство. Я, как гордая принцесса в сказке — знаете сказку про пряничного принца? — хочу, чтобы тот человек, которого я полюблю, был бы самым красивым, самым гордым, самым сильным. Чтобы он ничего не боялся — чтобы он — был сильнее меня.

— Мраморный мужчина. Ия?

— Да, мраморный. Вы знаете, между прочим, что мой дед был шведом. Может быть, от него у меня эта холодность. Я могу по-настоящему любить только того, кем восхищаюсь —

а таких очень немного. Вы посмотрите: расхлябанность, бескостность и бескорыстие, даже какое-то никчемное — ни себе, ни людям. Я не умею это выразить, но — мраморный — это вы очень хорошо сказали. Впрочем, вам должно быть понятно: мы сходимся во взглядах. Например, у нас в театре. Вот, я восхищаюсь режиссером. Он очарователен, изысканный джентельмен, седой Моцарт. Если бы он был не такой больной и уже отошедший от жизни, я бы влюбилась в него, по уши . . . Ну, потом вы и . . .

— Архангел?

— Да, Архангел. Я его люблю. — Ия сказала это совсем просто, но у нее задрожали губы. — И мне кажется, что . . . Впрочем, вас вряд ли интересует. Не будем. Простите, что так разоткровенничалась. С вами хорошо говорить. Вы сами тоже — мраморный и сильный. Только мне кажется — холодный какой-то. Или это от писательства? Присматриваетесь — и сами в стороне. Может быть, вы и правы. Но — не слишком ли холодно в жизни? Может быть, все-таки лучше — гореть, ошибаться, падать, просто так — стремглав — лететь вниз?

— Вы напрасно так думаете, Ия. Отвечу вам такой же откровенностью: три года тому назад я стрелялся из-за женщины — и выжил. Ну, теперь с вас довольно? Но не советую следовать моему примеру. Мне почему-то кажется, — дайте мне вашу руку и посмотрите в глаза, по-честному — вот так —вы сейчас тоже стремглав летите вниз. Так ведь?

— Да, — понизила голос. Сталь в глазах исчезла, газетная вырезка с биржевыми курсами скользнула за алый платочек на груди, и он показался мне каким-то особенно пылающим. — Да, я готовлю один сюрприз — на нашу елку. Я . . . от этого многое зависит.

* * *

Елка устраивалась всеми актерами, большинство было бездомными и холостыми. Ия предложила закрытый вечер: масса приглашенных гостей, сюрпризов. Я всегда верил в ее организаторские способности, но тут она превзошла самое себя.

Из залы были вынесены стулья, устроены уютные уголки. Ия натащила пальм, драпировок, ковров, вся реквизиторская уместилась в зале — уголки рококо, бидермайер и даже готические. Большую люстру потушили. Посередине стояла

огромная елка в свечах, пестрых игрушках, цветных бусах и пряниках от Кюммелькухена. Ия настаивала на том, чтобы она не была холодной и белой.

Настоящего модного освещения с вделанными в стену лампами не могли устроить из-за недостатка средств, но пошли в ход софиты, прожекторы, самые невообразимые лампы и цветная бумага: зала в светлом полумраке, с сияющей елкой посередине, а по углам пронизана разноцветными огнями.

Реклама, пригласительные билеты в виде очень оригинальной виньетки. Нашим театром были заинтересованы многие, даже относившиеся презрительно к попыткам возродить МХАТ. Ия обещала стильные выступления, Летучую мышь, — и сдержала слово. Странно было смотреть, как знакомые актеры, выступавшие каждый в совсем необычайной для него роли, вдруг преобразились и стали даже для меня, знавшего всех, интригующими и волнующими.

Я пришел рано, чтобы помочь Ие, но она уже кончила все приготовления, и переоделась. Первый раз видел ее в настоящем вечернем платье — тоже черном и строгом, с длинными рукавами до полу, как крылья. Яркие хризантемы, вышитые золотом, были очень оригинальны — да и как иначе могло быть у Ии? Одна из артисток нашла, что платье больше походит на халат, особенно с этой вышивкой, но я одобрил его, мне хотелось сделать Ие что-нибудь приятное — я знал, что ей нечем, наверно, было отделать платья, и она вышила хризантемы сама.

— Я в ужасе — призналась Ия — Архангел привел с собой Гея.

И действительно, Гей не отходил от ноги Архангела, повиливая пушистым белым хвостом. Пара была действительно замечательная — гордый красавец в смокинге, с военной выправкой, и рядом с ним белоснежный борзой.

— Я никогда не расстаюсь с Геем, — процедил Архангел, — он привык ужинать в ресторане, и вряд ли будет удивлен при виде елки.

— Чтобы только он не съел моего пряничного сердца, — беспокоилась Ия, — вы знаете, Кюммелькухен принес нам на елку массу пряников, и специально для меня — огромное пряничное сердце. Такой милый! Я как-то рассказы-

вала ему, что еще девочкой всегда любила пряничные сердца.

У Ии были под глазами темные круги, и, видимо, она сильно волновалась.

— В чем дело, Ия?

Я подошел вместе с ней к отдернутому занавесу. На другом конце «Моцарт», наш конферансье, только что закончил свой номер, рассказ в стиле Станюковича, и должен был огласить следующее выступление.

— Что с вами, Ия?

— Во-первых, я буду выступать сию минуту — мой номер за Моцартом — да, не делайте таких глаз, а садитесь за столик и слушайте. А во-вторых, я ... вы ведь все равно знаете ... Архангел ... ну вот ...

Я понял. Мне это было чуть, чуть неприятно. Что это — вечное мужское самолюбие? Жаль Ии? То и другое? Ну что-ж она знает, что делает. И потому такие счастливые глаза! Как трудно человеку скрыть радость — так и светится бледное лицо в пепельных локонах.

— А теперь, господа, — послышался мягкий голос Моцарта, — выступит очаровательная дизез, которая расскажет нам сказку. Рождество, это такой праздник, когда все чувствуют себя детьми. И не только потому: в каждой сказке кроется глубокий смысл и хорошо будет на сердце у того, кто поймет его в огнях рождественских свеч.

Я провел Ию в залу и сел за столик. Против меня сидел Архангел Гавриил с блондинкой и какими-то важными директорами. У ног его большим лохматым комком лежал Гей. Оглянувшись, я заметил сбоку детские голубые глаза Кюммелькухена, смотревшие на Ию так же наивно и сусально, как и большой раззолоченный пряник в виде сердца, покачивающийся на елочной ветке.

Ия прошлась по залу, между столиков, уверенно, чуть улыбаясь кончиком губ. Оркестр заиграл что-то тихое, переливчатое, неопределенно кружащийся мотив, как будто издалека.

* * *

Домишки запутались в улочки, а улочки в переулочки, окружили площадь толпой, прилепились под замковой сте-

ной — смешные, такие, как мухоморы: крыши из черепичных заплат, флюгера на трубах торчат, низенькие окна из слюды, на снегу протоптаны следы — на карнизах снежные подборы.

В бархат выряжались там купцы, на старухах белые чепцы, туфли у всех острые, носатые, пестрые штаны и полосатые — совсем как рисуют на картинке, которую мы видели в детстве... Это было крохотное королевство, и хоть умещалось оно на одной горе, но не было счастливей его на земле — и жили там по-старинке...

* * *

Вот этого таланта от Ии я не ожидал. Это была настоящая дизез — умеющая обратиться к каждому из толпы — каждому сказать что-то свое. Она не пела, а говорила речитативом, рассказывая, напевая, ломким, с затаенным звоном голосом.

* * *

На верху же самой горы стоял, и стоит до сей поры замок с окнами хрустальными, с залами бальными, где кружились пары на паркете...

Белые из мрамора ступени, от колонн сиреневые тени, не двери в замке, а арки, соловьиные песни в парке — самый красивый дворец на свете! На пажах были с перьями береты, раззолочены подножки у кареты, по бокам — два эфиопа скорохода, к удивленью любопытного народа — так принцесса выезжала к обедне.

В этом маленьком нагорном королевстве, сиротою провела принцесса детство, с каждым днем красивей становилась... Только очень уже принцесса гордилась — не было красавицы надменней!

В городке же, в самом старом из домишек, к удовольствию великому мальчишек, над окном качался пряник золоченый, а в окне лежал такой же испеченный. Пряники пекла одна старуха — и была она седою и горбатой, без зубов, хромою и носатой, дружбу с разной нечистью водила, по ночам у печки волшебила — так в народе поговаривали глухо...

Так и шло б все дальше без заминки, но однажды шла она с корзинкой, с инбирем с базара возвращалась, и принцессе на глаза попалась.

А принцесса с паперти сходила.

— Выгоните с площади урода, пугало для доброго народа. Гости во дворец должны съезжаться, гости могут ведьмы испугаться, — гордая принцесса рассердилась.

Кинулись пажи и скороходы оттеснить скорей старуху, чтобы, дать дорогу золотой карете — место ли ей рядом с блеском этим? — А старуха палкою грозится:

— Слишком уж, принцесса, ты спесива! Каждая старуха некрасива. Век тебе обиды не забуду, над тобой еще смеяться буду, гордостью придется поплатиться!

В замке пир сменялся пышным балом: музыка звенела и бокалы, знатных перечесть бы всех гостей — принцев, герцогов и королей не нашлось бы в целой книге места ... Самый смелый, самый сильный рыцарь, что во сне — и то не в каждом снится от принцессы гордой не отходит, и с лица ее он глаз не сводит... Он — жених — она его невеста.

Но вернулась ведьма к себе в дом, прямо целый подняла содом: говорила ночью заклинанья (слышали соседи бормотанье), и читала из громадной книги, и в кадушке тесто замесила, и туда чего-то положила, сыпала, месила и сбивала, до утра у печки простояла — и спекла огромную коврижку.

Вид был у нее немного странен — принц ли это иль медовый пряник? Расписала сахаром колдунья, не парчой покрыла, а глазурью, голову набила сладким перцем ... Принц красив — как будто бы с картинки. Вместо глаз — две темные коринки, губы смазала ему вишневым соком, меч картонный прицепила сбоку и миндалинку вложила вместо сердца.

Он сидел, ходил и улыбался — сам собою долго любовался. — Говорит — журчит медовый голос, — в смоляных кудрях завился волос — ну кому тут знать, что он из теста?

Стукнула старуха об пол скалкой, погрозила принцу своей палкой:

— Во дворец отправишься живее! У крыльца карета и лакеи. В замке ждет тебя твоя невеста.

Помогли старухи заклинанья — всех чарует принц — медовый пряник. Фрейлины за ним идут толпою, рыцари склоняются без боя — и поет принцессе он на лютне. За глаза — веселые коринки, за наряды будто бы с картинки — нежные

и ласковые речи, и поклоны низкие при встречах — полюбила она пряничную куклу!

Так бывает часто и не в сказках... Может рыцарь не был с нею ласков, может быть, глазурный этот пряник блеском своим голову туманил?..

Ведь принцесса ничего не знала...

Колдовство свершилося воочью: темной и холодной бурной ночью, бросив королевство и придворных, жениха, дворец свой и дозорных, — тайно вместе с ним она бежала... Снег летел, кружился диким роем, ветер гнул в замерзшем лесе хвою, град хлестал, терялся путь в тумане — и намок, размяк медовый пряник. В ужасе несчастная невеста...

А уже погоня настигает: рыцарь грозный меч свой поднимает:

— Ну, теперь без всяких уж чудес покажу тебе, как красть принцесс!

И мечом рассек его, как тесто...

В удивленьи все кругом толпятся, видя чудо странное, дивятся: на снегу лежат две половинки, крошки сыплются из них, а ни кровинки, голова набита сладким перцем... Где ж красавец писаный с картинки? Съежились глаза его — коринки, и глазурь местами откололась...

Сердце же, за что она боролась — горькая миндалинка, не сердце!

Правильно колдунья рассчитала — гордую принцессу наказала... Только для чего же так жестоко ранила, и ранила глубоко?

Горько полюбить простую куклу!

В самом старом, низком из домишек, где пекутся вкусные коврижки, и в окне горела тускло свечка, кто-то в этот злой, холодный вечер подойдя, тихонько в двери стукнул. Появилась ведьма на пороге, хмуря нависающие брови.

— Кто покой мой по ночам тревожит? Иль теперь раскаяние гложет? Кто стучится ночью в мои дверцы?

На коленях гордая принцесса добралась до города из леса:

— Все возьми, что только не захочешь — буду я слугой и днем и ночью. — Испеки мне пряничное сердце, чтобы принц мой стал бы настоящим, только в нем и жизнь моя и счастье, только одного его любила, — возврати, колдунья, то, что было!

Так принцесса умоляла глухо . . .

Может ли ожить медовый пряник? Можно ли прожить одним обманом, даже об обмане этом зная, даже об обмане умоляя? Головой качала лишь старуха . . .

С той поры обычаи ведутся: пряники медовые пекутся, с инбирем, гвоздикой, сладким медом, всем на утешенье в праздник, чтобы пахли бы душистым сладким перцем . . . Может быть, кому-нибудь на свете принесенный пряник сладкий этот станет вдруг живым и настоящим — возликует радостью и счастьем бьющееся пряничное сердце!

* * *

Маленькая, почти детская сказка — но в ней был какой-то особенный смысл. Может быть это было понятно только трем людям: Ие, Архангелу и мне. Но стало понятным и другим: я видел, как склонялись головы, слышал, как перешоптывались артисты. Очень смело со стороны Ии, тем более, что она уже . . . на это могло быть только два ответа, две улыбки — и одна из них могла светиться всю жизнь, а другая — так же глубоко ранить.

Я пристально смотрел на Архангела. Как он поступит? Как поступил бы я на его месте? Поймет ли пряничный принц, что его хотят видеть настоящим человеком — или нет? В зале все еще продолжали апплодировать. Архангел не шевельнулся. Ия стояла у елки. Она протянула руку, откинулось черное крыло рукава, сняла с елки пряник.

— Кто хочет с елки мое пряничное сердце, господа?

Это был вызов. Бедная Ия! Нужно быть очень уверенной в себе, в том, что не дрогнет сердце, чтобы затронуть мужское самолюбие. Интересный и острый поединок.

Архангел чуть приподнялся и наклонился вперед. Я видел, как его брови сошлись на переносице, а губы тронула холодная любезная улыбка.

— Поди, Гей, возьми.

Борзой поднялся, потянулся, отодвинул задние ноги, и, скрипнув когтями по паркету, подошел к елке.

— Возьми, Гей, — улыбнулась Ия, — это совсем особенный, настоящий пряник.

Гей осторожно прикоснулся узкой мордой к ее руке, взял

сердце, и зажав его в зубах, вернулся под стол, к хозяину, где съел осторожно и манерно, как барышня.

Оркестр заиграл танго.

* * *

Час спустя, я нашел Ию за кулисами, за холщевой стеной с расписанными высокими сводами какой-то церкви. Ия сидела на лесенке, закутавшись в рабочий халат, чтобы не запачкать платья. Было полутемно, пыльно и пахло мышами. Они привыкли к шуму и, не обращая внимания на топот ног и звоны оркестра, тихо попискивали где-то. Теперь в лице Ии не было ни стали, ни света. Она сидела, обняв колени руками, тихонько раскачиваясь и смотрела перед собой прямо, бесжизненно и пусто. Я молча взял ее руку.

— Мне очень больно, — сказала она, едва шевеля губами. — Вы понимаете? Я не буду стреляться, конечно. Я должна еще добиться своего. Может быть, это плата. Слышите, как грызутся мыши? Это они обгладывают мое пряничное сердце!

Что я мог ответить ей на это? Когда у человека болит сердце, на это можно ответить только большой любовью, или маленькой ложью, а ее у меня не было, хотя я очень ценил Ию...

* * *

Через несколько месяцев Моцарт умер, и наша театральная жизнь кончилась. Я уехал в провинцию, корреспондентом, сел писать большой роман. С Ией переписывался, изредка. На следующее Рождество снова приехал в город. Попал в ресторан, главным образом потому, что в нем выступала Ия. Она, кажется, окончательно стала дизез, и ее имя писалось уже крупными буквами.

Черное платье, сплошь из блесток. Светлые пепельные волосы казались совсем седыми, и это, при молодом лице, черных бровях и глазах, производило эффект. Сперва Ия выступила с оркестром, пела рефрен щемящего танго, потом на бис, вышла в залу, увидела меня. Я обещал навестить ее в городе, но это было сюрпризом. Она подошла к моему столику, небрежно опустила руку на спинку свободного стула:

«За счастье глупое мы выпьем чарочку — не первый раз

нам — с тобою пить вино . . . А если холодно — зажжем огарочки — ведь на душе у нас давно, мой друг, темно!»

Ее голос окреп, появились трагические нотки, небрежная уверенность, что-то, проникающее вглубь.

«Одни с тобою мы — с тоскою нашею — по ком мы плакали — была ль любовь, была иль не была — меня не спрашивай — ведь мы то знаем, что ее не будет вновь. Так пьем за счастье мы — налей мне чарочку — ведь счастье глупое — ему не быть — одно осталось нам — одни огарочки, и с ним тоже надо как-то в мире жить!

«Огарочки, огарки талые . . .» — подхватил оркестр.

«. . . не светят, и не тухнут, а горят!»

«А песенки мои усталые, и сердце мое плачет, а глаза молчат. Сегодня, завтра ли — мы все расстанемся — и так спокойнее — не надо встреч . . . Огарочки одни останутся — пустого сердца и потухших свеч.»

Ия чуть пригубила бокал, который я подал ей, кивнула мне головой, и прошла дальше. Мне казалось, что она спрашивала о чем-то, ждала от меня — слов ли, жеста ли . . .

Я был у нее на следующий день, и она сказала, что уезжает за границу. Я получил несколько писем из Лондона, потом уезжал сам, как-то оборвались нити . . .

* * *

И вот, через — несколько лет? Шесть-восемь, может быть, даже больше, — неожиданное письмо. Оказывается, Ия снова вернулась в наш город. Я приехал незадолго до Рождества, она гораздо раньше. В городе много говорили о ней, об ее успехе, дорогом сером автомобиле, о собственном особняке, который она купила за городом. Мне еще не удалось поговорить с ней как следует, хотя виделся несколько раз. Почти та же, только старше, конечно, старше не только годами. Очень много усталости, прежняя стальная выдержка стала как будто еще напряженнее и суше, около рта появились маленькие морщинки — от грима, или от тридцати с лишним лет. Она очень торопилась, заехав пригласить меня к себе на праздники.

— Я хочу собрать у себя всех своих старых друзей. Жаль только, что нет Моцарта . . . как бы он радовался со мною! Сегодня съездила к нему на могилу и засыпала ее фиалками . . . на снегу это было очень красиво.

— Вы с ума сошли, Ия — фиалки зимой!

— Почему? Я бережно храню память о нем — он так любил все красивое. А, что касается денег — то у меня теперь есть средства. В Лондоне я не считаюсь миллионершей, но здесь — пожалуй. Сколько стоил один дом! Я хочу, чтобы вы посмотрели на него. Все, все. Хочу доставить вам несколько дней настоящей, прежней жизни. Смесь старой дворянской усадьбы с английской. У них ведь тоже — удивительный уют. Но вы соберете мне остальных — всех наших артистов, Кюммелькухена — непременно его, и Архангела тоже. Я слышала, что он приезжает на гастроли.

* * *

Дом был действительно чудесный. Не дом, а прямо сказка. Заснеженные каменные ворота, в нескольких верстах от города, широкая аллея кленов, — старая усадьба. Ия, оставив старое, внесла много нового и своего. Громадные окна, некоторые стены сплошь из стекла. Широкая деревянная лестница в холле с английской дубовой резной мебелью. Белая зала с нарядной елкой, комнаты для гостей. Брат Ии, теперь уже молодой человек, в кожаных рейтузах, сверкая зубами и улыбкой, носился по всему дому, весело изводя сестру и щелкая хлыстом. Я не мог даже сразу охватить всего, вжиться в это. Тут чувствовалась настоящая барственность, настоящий теплый уют — после наших меблирашек, просто сказочный. И над всем этим царила тонкая высокая женщина с усталыми светлыми глазами, с пепельными светлыми волосами, в мягком сером платье из какой-то удивительной, не похожей ни на что материи.

Остальные гости были приглашены на первый день. Мы — старые друзья — собрались в Сочельник. Настоящий ужин, как полагается: с кутьей, осетриной, узваром, артистически поданным в хрустальной вазе. Под елкой для всех были приготовлены подарки — хорошие, дорогие вещи. И, среди дорогих картонажей и переливчатых стеклянных фигурок висело большое, расзолоченное пряничное сердце — самый простой медовой пряник.

Кофе пили, усевшись на диванах и креслах, а Ия осталась стоять у окна — стеклянной стены, выходившей в сад. От-

сюда она видела и елку, и всех нас. Я подошел к ней ближе, прося спеть, но она покачала головой.

— Нет. Это потом. Сперва я вам хочу сказать, для чего я собрала вас сюда. Конечно, хотелось встретиться со старыми друзьями. Но и не только это. Видите ли — вы мой старый друг. Когда-то я была с вами откровенной — и теперь — хочу подвести итоги. Может быть, это вам пригодится — ведь вы писатель, вы должны собирать блестки граней. Ну вот вкратце: Лондон, работа. Как всегда, у меня шли параллельно три вещи: я выступала, как дизез, и имела большой успех. Потом вела постановки в Ковент Гардене — самом изысканном лондонском театре. И еще: играла на бирже. Все шло постепенно: накопление знаний, связей и денег. Для этого приходилось учиться, много работать, и ... иметь друзей. Иногда я это делала по увлечению, иногда по необходимости, иногда по капризу. Не приклеивайте мне ярлыка Мессалины, я просто немного устала от этих «любвей». Потом — пошла на большую игру. Знаете, как говорится: королевский удар. И выиграла. Стала независимой. Какое это удивительное чувство! Я еще не совсем привыкла к нему: не могла дождаться конца контрактов, чтобы приехать сюда. Здесь, в этой стране, мы как-то ближе к родине — здесь я могу построить свою усадьбу, совсем как раньше. Помните, я говорила вам о своих мечтах? Теперь я просто пьяна этим домом. Хожу иногда одна по комнатам, глажу ковры, разговариваю с резными фигурами, со старыми кленами, с львами на воротах, с моим гербом. В сущности это все, чего я могла желать от внешней жизни. А от внутренней ... вот сегодня вечером я говорила с милым, старым Кюммелькухеном. Посмотрите, у него одутловатые щеки, под глазами мешки и глаза как будто слезятся. Он женился, открыл фабрику, потом прогорел, пропил ее вместе с друзьями — бедный Кюммелькухен, он дорого заплатил за любовь к театру! .. развелся, теперь служит пекарем, и пьет как сапожник. Пожалуй, что он и тогда был слишком слаб. Остальные — кто женился, вышел замуж. Одни добились чего-то, другие нет. Архангел Гавриил попрежнему великолепен. Он слишком ценит собственные удобства, чтобы позволить жизни ранить себя. Если он и пряничный принц, то из молотых камней. У него большое имя на сцене. Вы создали несколько хороших

книг, считаетесь одним из литературных светил. Честь вам и слава. Читала, со многим не соглашалась, но восхищалась всегда. Вот вас мне особенно хочется спросить: к чему пришли вы . . . милый?

— Было много увлечений, Ия . . . это и неизбежно, и я не мог бы даже писать иначе . . . большого не было.

— Ни разу, никогда? Может быть, просто не заметили?

— Моя профессия — замечать каждую мелочь.

— И как вы ошибаетесь иногда! . . ну вот, например, как вы думаете, чего я ждала от вас — от всех вас, от одного Ведь хотя бы из всех, собравшихся сюда? Ведь вы меня любили — по-своему. Каждый дал мне что-то, прошел в жизни, оставил след. Ну вот, ради этого — или того, что могло бы быть — я собрала сюда вас, всех таких же как и я, дорого заплативших за то, что называется победой над жизнью, спросить вас — что вы принесли? Может быть, раньше мы, молодые, ошибались все? Но потом мы сознаем ошибки. Потом нам просто иногда хочется даже обмануть себя, солгать, только чтобы во что-то поверить . . . в совсем небывалое!

Архангел подошел и очень благородным на сцене жестом, низко склонившись, поцеловал руку Ие.

— Ия, по старой памяти, как другу . . . помните ваше первое выступление на нашей театральной елке? Спойте нам что-нибудь.

— Садитесь за рояль, — кинула Ия почти резко. Она раскрыла перед ним какие-то ноты. Он присмотрелся, взял первые аккорды, полуобернулся на табурете, продолжая играть. Свечи падали сбоку теплыми бликами на сухощавое, сильно испорченное от грима лицо с усталыми складками и заученной победой улыбки. Ия чуть отодвинулась от меня, вздохнула и улыбнулась умоляющей, трепетной улыбкой, такой странной вдруг в этой стальной женщине.

— Пряничное сердце принеси мне в подарок — радости обманной огонек лови . . . Пусть зажжется елка и для нас, усталых, ничего не ждущих больше от любви . . . Пряничное сердце — крохотное счастье в радости улыбок, в ласке теплых слов — пусть хоть это сердце будет настоящим, пусть хоть сердце не обманет снов!»

Я почувствовал, как у меня вдруг широко открылись глаза и задрожало что-то в груди. Почему никто из нас не ответил ей — этим подарком? И я... неужели?

«Пряничное сердце — это так немного! В переливах фольги, в светлом дыме свеч — пусть нам этот праздник облегчит дорогу — осветит огнями небывалых встреч! Мы тоску обманем, назовем — любовью... ведь бывает счастье где-то на земле! Пусть же будет сказкой — даже с этой болью — пряничное сердце в звездном хрустале! Счастье только ждется — и проходит мимо... не считай ушедших, пустоты не мерь... Пряничное сердце подари, любимый, улыбнись над сказкой горечью потерь!

Я больше не мог выдержать и отвернулся к окну. За синим стеклом стояли заснеженные разлапые клены, уходя аллеей к воротам. В той аллее, по которой пришла к этому дому Ия, было много, много шагов. И встреч. Почему она шла одна по ней, почему я прошел мимо? Я чувствовал, как за моей спиной стройная женщина в сером мягком платье улыбается еще безнадежней и усталее:

«Неужели в жизни потерялось счастье? И никто не вспомнил, не вернул его... разве жизнь вернется? Сказки настоящей, пряничного сердца не принес никто!»

1937 г. Рига.

ПИСЬМО ДЕДУ-МОРОЗУ

Вы слишком разумны, чтоб сказкам поверить. Для вас это только — ненужные бредни. И если пришла бы к вам добрая фея — ее не пустили бы дальше передней! Но сказки стучатся в упрямое сердце — но сказки не блекнут — хоть вы их забыли... И если увидите Деда Мороза, то он вам напомнит, кого вы любили...

В сочельник приходят к нам Деды-Морозы. У каждого в жизни есть сказки в сочельник. Но нужно, чтоб двери для них отворили, чтобы пах и смолою и свежестью ельник. Хотите ли, нет ли — они неизбежны. Их надо видеть, узнать, обернуться — и той же улыбкой, печальной и нежной, им, мимо идущим — во след улыбнуться. А если у вас не найдется улыбки — и вы никого, никогда не любили — то лучше бы, вам и совсем не родиться, и лучше, чтоб вас поскорее забыли!

* * *

На раскатах улиц, как будто облитых лаком, заносятся санки и рассыпаются бубенчики. Дворники скребут желтыми как халва, лопатами тротуары, и на черном асфальте рассыпаются недобранные, прилипшие огоньки снега. За окном высокий и мягкий, пушистый, как кот, карниз. Рождество — вот, вот...

Значит все, как полагается, как должно быть. Кто-то промчится в санках, обнимая одной рукой, заглядывая в нежащий воротник. Кто-то поддержит за локоть на сбитом снегу. Кто-то сцелует с губ крохотные звездочки. Пройдут люди с пакетами, большими и праздничными. Разбегутся маль-

чишки по ярмарке, засовывая в рот хрупкие вафли. Через передние, разбрасывая налипший снег с холодом, свежестью, смолой, протащутся раскидистые елки с коричневыми шишками. В толстых английских журналах раскинутся ветки омелы и заулыбаются Деды Морозы. Страницы английских журналов пахнут веселым Рождеством. А на кухне пахнет мятными пряниками, в спальне распечатывается новый флакон одеколона, и в шкафу топорщится белое платье, и...

Так должно быть. Конечно, не у всех. У тех, у кого устоялась жизнь.

Фитиль-Митиль не сомневается нисколько. Он важно стоит на подоконнике, уперев одну лапу в бок. У него длинный плоский живот из серого плюща, тощие ноги, узкий хвост закорючкой, нос огурцом, как у Петрушки, и колпак со звездочкой, из под которого высовываются острые длинные уши. Фитиль-Митиль — смешной и важный. Черные бисеринки глаз и рот до ушей у него, набольшого в шишином народце. Народец марширует за ним на елку — весь, разумеется, из шишек, с хвостами и косматыми бородами, с шапками на ушах, а ноги в разные стороны — в пляс. Тут и коты, и балеринки, и Деды Морозы в атласных кафтанах. А шествовать они будут под веселый и таинственный шишечный марш. Его выдумал самый наибольший — Фитиль-Митиль, но только он поет его не всем, надо очень внимательно слушать: «У медведики шишнадцать медвежат, все шишнадцать кверху лапками лежат!»

* * *

Дед Мороз — это тот, ласковый и умный, который все знает, все видит, и ничего не говорит. Галинке купили его в первый раз из глины, или из папье маше — давно это было, теперь не разглядеть. Но помнит: коричневый, с белой меловой опушкой, совсем живыми темными глазами и елочкой в руке. Если прижаться к нему щекой — холодный и шершавый. Он занимал почетное место на столике перед куклами. Стоял долго, пока не разбился. Галинка горько плакала и осколочки Деда-Мороза — пустого внутри были спрятаны в потаенный уголочек — детской ли, сердца ли? Они заворочались там, когда... но сперва надо провести длинный и большой зигзаг от белой детской в голубых колокольчиках, от

кукольного диванчика, и многого другого, через то, о чем говорят теперь скороговоркой: война, революция, и . . .

И в мутный город, в туманный слякотный сочельник, в дымную ростепель. Рождество без снега и без всего. На Галинке пальто из старой шинели, сквозь чулки просвечивают фиолетовые ножки, хлюпающие в луже растаявшего снега. Галинка ездила к знакомой даме — но та не продала еще маминого кольца. У нее разостланы ковры и пахнет вкусным. Она позвала Галинку на кухню и дала ей три желтые, теплые еще лепешки печенья. Они ссыпались с помасленного листа в аккуратную витую корзиночку.

Галинка съела только одну лепешку, а две другие зажала в руке. Так, кутая их в дырявую перчатку, села в трамвай, с визгом остановившийся на залитых водой рельсах.

Воротник намокшей шинели резал и натирал подбородок. Галинка вспомнила, что еще ничего не ела сегодня и осторожно, чтобы никто не видел, откусила из перчатки тающий кусочек. Ей больше всего хотелось согреться и поплакать. Трамвай снова заскрипел, останавливаясь, и в вагон вошел Дед-Мороз. Он спокойно уселся в том же ряду: высокий, в желтом овчинном полушубке с полоской черного меха . . . Белая ватная борода, а над нею смеются молодые веселые глаза. В руках большая тяжелая корзинка с нарядными пакетами, убранная хвоей. Сидевшие в трамвае подтолкнули друг друга, заулыбались, зашептались. А Галинка повернулась к нему боком и даже забыла про лепешку. Только смотрела, доверчиво и нежно. Так улыбаются в четырнадцать лет бедные маленькие девочки, всегда готовые поверить в сказку. Он ехал не к ней, и она не получит ни одного из этих аккуратных пакетиков. Он есть, он живет, он приходит. Кто-то подумал о ком-то, кто-то вез большую и ласковую радость.

Дома мама купила все-таки тонкую прозрачную елочку и испекла из серой муки толстые колбаски, посыпав их корицей и сахаром. Галинка ела их, осторожно хрустя зубами и была действительно очень довольна: из-за елки, в туманном углу, на нее смотрели веселые глаза Деда-Мороза. Теперь она твердо знала, что он есть.

* * *

Серебряный язычок будильника бьется беспрерывным, назойливым звоном, над самым ухом. Она засунула его за подушку, к стенке. Галинка быстро поднимается, даже не ежась от холода, нащупывает в темноте пружинку, тушит звон. Наступившая сразу тишина кажется в темноте особенно гулкой.

Вчера был сочельник — тяжелый, скучный и тягучий. Профессор говорил бесцветно и долго о том, как ей надо работать над своими картинами, и неодобрительно поглядывал на стены, где обваливающаяся штукатурка мансарды плохо прикрывалась наколотыми этюдами. Остальные похмыкивали в ответ и усердно пили.

Галинка сидела за столом, резала ветчину, грызла подгоревшие пряники и посматривала на никому ненужную елку, на которой посредине качался от ветра — ужасно дует в двери — большой пряник с сахарным Дедом-Морозом. Дед-Мороз, в голубом кафтане и розовых валенках, подплясывал на ветке, подмигивал Галинке: он знает!

Он знает, что сейчас вот, в шесть часов утра, Галинка должна быстро вскочить, одеться в темноте — только у зеркала зажечь спичку. Потом наденет новую шубку, запахнется потеплей, осторожно приоткроет дверь.

Все тихо. И на улице — праздничная утренняя тишина. Не видно ни телег с молоком, ни дворников с громыхающими совками. Улицы выметенные, в неровных сверкающих заплывах сухого, притоптанного песком льда. Сухая колющая пыль снега кружится под ветром совсем низко: поземка. На холоде потрескивают большие молочные фонари. Притоптывают одиночные шоферы. Может быть, взять такси? Нет, успеем . . . Галинка смотрит на светящиеся оранжевыми переливами уличные часы и бежит дальше. В груди вот тоже — холодный, сухой, и сразу вдруг вздымающийся и падающий ветер. Галинка идет встречать своего Деда-Мороза. Он прислал телеграмму, он приедет сегодня, с утренним поездом, из дальних теплых краев . . . «Если вы приедете на Рождество, у меня будет праздник — писала она ему — «и я готовлю вам большой подарок». Да, подарок . . . Галинка прячет улыбку в воротник шубки. Что он скажет? Эта картина имела такой успех — и она писала ее для него.

Фонари вытянулись перед вокзалом в белую аллею. Носильщики, скрипучие автомобили, неизвестные старушки, дамы в меховом манто... неужели она опоздала? Свисток.

Галинка бежит на перрон, на ходу протягивая билет. Волна теплого пара вливается на дебаркадер, черный сверкающий паровоз урча громыхает высокими колесами, лязгает, дымным, шумным теплом обдает Галинку. Ей хочется погладить этого большого умного зверя — за радость, которую он приносит. Мимо — широкие стекла вагонов экспресса. На ступеньках стоят уже с чемоданами. Кто-то молодо машет коричневой шляпой, и прелестная блондинка в меховой опушке воротника улыбается, как английская лэди... Но неужели — никого? Не может быть. Галинка мчится по перрону. Под быстрыми шагами звенят замерзшие плиты, вокзальные, вагонные огни сливаются рябью, мелькают, переплетаются, и в окне... Да, в окне Дед-Мороз. Приехал! И... все такой же. И темные смеющиеся глаза, и мягкий обволакивающий голос, уверенные руки. Он не ожидал, что она его встретит. Целует, рассказывает сбивчиво, обо всем сразу.

Приехал! Приехал! Одно только слово, а как звенит!

Они едут в автомобиле, будят заспанного швейцара. Темно еще, всюду горят огни. Не ночь и не день, кругом расплывается все, непонятно, необычно, Галинка не знает, о чем говорить — столько месяцев не виделись, и все время думала, говорила ему — в даль улиц, в мохнатый сон, что любит, любит... Но ведь он не слышал, не знает. И... подарок.

— Я посмотрю его потом, при свете как следует — говорит он, закрывая дверь в комнату, где на стене висит большая картина: ее Дед-Мороз с этими вот пристальными, непреклонными глазами.

Галинка выходит снова на улицу, когда на бледном небе яркое солнце, снег прорезан синими тенями и по нему идут веселые праздничные люди. Сегодня Рождество. Она идет, подбрасывая кончиком ботинка обмерзлую ледяшку, и улыбается всем, как улыбаются люди, когда они светятся изнутри и молятся этому свету.

* * *

— Вы слышали, что ваш портрет фигурирует на выставке в таком смешном сказочном виде? — спрашивают его по телефону.

— Видел, — отвечает он. скашивая уголок глаза на стену, с которой снят Галинкин подарок.

— Ах, до того еще, как она была выставлена? И ничего не имели против? Признаться, удивляюсь... Правда, это сказка... и о ней говорили... талантливо — не отрицаю, но слишком смело...

Трубка повешена, а картина снята со стены. Как ей могло притти в голову изображать его, да еще в таком виде? Нет, этого он не ожидал.

* * *

Галинкина радость начинает тускнеть. Уже который день, а ни звонка, ни... неужели он не понял, что она хотела этим сказать? Картину хвалили, и профессора, и другие, ее хотели купить. А он — не понял. И... рассердился?

— Вы сердитесь? — спрашивает она в упор, после долгих колебаний беря трубку.

— Ммм... сержусь? Это слишком слабое выражение.

Трубка повешена. Над черным лакированным ящиком холодно и нагло поблескивает никель. Отбойный звон долго еще дрожит в ушах. Вот как. Значит, все кончено. О, он отлично знает, что ей не надо устраивать сцен. Дед-Мороз прошел мимо, как и праздничная радость и много, много еще...

Галинка снимает с елки сахарный пряник. Он уже обился. По лицу краснощекого Деда-Мороза ломаная ниточка трещины в сахаре. Вот это, пожалуй, и все. Для того, чтобы жить, человеку надо очень много вещей: всего не перечислишь. А убивают маленьким кусочком железа. Иногда и этого не нужно: несколько слов.

* * *

Фитиль Митиль знает это. Может быть, потому он смеется, шагая на елку под веселый и таинственный шишечный марш. Фитиль Митиль бодро трясет длинными ушами и довольно оглядывается вокруг. В сущности, тут совсем неплохо. Вот в этом углу будет стоять елка, разложатся по диванам побле-

скивающие шелками подушки, на кухне пахнет печеньем. За синеватыми узорами стекол сыпучие сугробы, и засыпанная дорожка к нарядному домику ждет быстрых и радостных шагов.

Галинка ждала очень долго. Рождество бывает только раз в году, и если Дед-Мороз не пришел, то его нужно ждать. Она не светилась больше. И не молилась тоже. Она не звонила по телефону. Она послала только короткую поздравительную телеграмму. Три слова и подпись. Все.

Она шла с пакетами в руках — подарки. Повесила на елку серебряные звезды. Надела новое душистое платье. Но, когда все уселись перед елкой, прошла в спальню, вынула из полированного ящика столика большое и длинное письмо ... Провела рукой по конверту, прикоснулась губами к острому краю, запечатала сургучом.

Меховая накидка закрывает только плечи. Трен платья шуршит по снегу. На углу — синий почтовый ящик с красными буквами. Галинка подходит к нему, медленно просовывает в щель большой плотный конверт, на котором написано только два слова: «Деду-Морозу». Он, конечно, его не получит. Но ему она и не может писать. Но Дед-Мороз, настоящий, посылающий сказки, стучащий в сочельник в двери, улыбающийся ждущим глазам, светящийся изнутри — он узнает об этом письме. Он будет знать, как знает о всех просьбах, о том, как ждут кукол и барабанов, теплого угла и куска хлеба, свечек на елке, надежды жить, радости и ласки. Как ждут сказок, которые приходят и ...

....«Ты больше не будешь — стучать у порога — и я не услышу приглушенный голос, и я не увижу веселой улыбки — хоть сердце мое пополам раскололось.

В сочельник приходят к нам Деды-Морозы ... таинственны сказки в мерцающем детстве! Но ты, ведь, наверно ни разу не слышал о каменном принце в его королевстве? Дворец сторожили драконы и грифы, на башнях сидели ученые маги Им не было равных: легенды и мифы у них оживали на толстой бумаге. В дворце — не картины, а сказок страницы! На крыльцей дворцовой — Жар птица трепещет! Но все эти сказки, драконы и птицы — для принца — давно надоевшие вещи ..

Ты больше не будешь смеяться со мною, ты мне не заж-

жешь разноцветные свечи, ты мне не расскажешь — хоть строчкой одною — про теплые страны и ласковый ветер... Ты даже не вспомнишь, что в эти чертоги — (о каменном принце рассказ не окончен) — пришла по далекой и трудной дороге принцесса, желавшая видеть воочью — принцесса, которая сказку просила... (Жар птицы на крыше, дракон у ступеней!) И каменный принц среди этого мира был сам небывалым его завершеньем.

Но принц был слегка раздосадован встречей. (Вот невидаль, сказки для этого принца!) И молвил, презрительно вздернувши плечи:

— Мне важен, принцесса, не сказки, а принцип. Принцесс в мой дворец приходило так много...

(Пожалуй, чем дальше, тем сказка печальней!)

— ... а то, что вы просите — это убого. Не будьте, пожалуйста, сентиментальной!

Когда вы дойдете до этой границы — вы, Деды-Морозы, драконы и грифы, вы будете знать, что и Синие птицы, и сказки в сочельник — ушедшие мифы. Ушли потому, что не светятся людям, кто больше не молится в святочный вечер... Ушли потому, что ты больше — не будешь, и ты не вернешься зажечь эти свечи».

1936 г. Рига.

КОРАБЛИ

В тумане снежном не видны зори: фонарь дрожит, как цветок на стебле: о всех кораблях, уходящих в море, надо вспомнить в Сочельник на этой земле. Метет по улицам снежный ветер — взметает звездами вьюжный снег. Когда в Сочельник приходит вечер — на небе звезды горят для всех.

В сочельник сказка, как счастье, снится. От свеч зажженных в душе светло... Не сам туман ли, туманный рыцарь, пришел к принцессе, закрыв лицо? Быть может, рыцарь, быть может — призрак. Такой туманный — не разглядеть. Но в кресло рядом кто-то садится, кто-то хочет в Сочельник сердце согреть.

Так перед елкой на креслах двое: туманный бархат струится с плеч. Не счесть в зеленой и терпкой хвое воспоминаньем горящих свеч. Ведь, надо только забыть усталость, забыть, что к стеклам туман приник... Звенит и манит стеклянный парус, плывет на елке стеклянный бриг. Мерцают звезды в зеленой хвое, кораблик елочный из стекла. Такой же хрупкий, как эти двое, такой же зыбкий, как эта мгла. Но в ночь в Сочельник об уходящих пусть сердце вспомнит хотя б на миг... На ветках елки, как сон, дрожащих, плывет в тумане стеклянный бриг. Звенит и манит прозрачный парус, звенит мечтою — струной канат. Нам надо только забыть, что осталось, когда корабли не пришли назад...

Так перед елкой на креслах двое: туманный рыцарь — иль просто тень. Сегодня вечер в зеленой хвое, сегодня можно забыть про день. Звенит на елке стеклянный парус о всех мечтателях всех морей, — молитвой тех, кто одни остались — в тумане снежном без кораблей.

* * *

Счастье только сказкой снится, чтоб в сочельник знали люди, что бывает в свете чудо, всех прекрасней и светлей...

Так пришел к принцессе рыцарь:

— Что же дальше в сказке будет, что же будет в этой сказке уходящих кораблей?

* * *

Я идеалист, поэтому я циник. Может быть, это слишком смелый парадокс. Но я привык мыслить и действовать парадоксально. Это моя специальность. Я хотел встретить в своей жизни девушку с простыми косами и непременно голубыми глазами. Пусть они будут похожи даже на глаза красавиц с конфетных коробок, на голубые, как небо, глаза, о которых все поэты писали несколько столетий подряд. Эта девушка должна быть нетронутой, чистой страницей, без прошлого, но с душой, умом и сердцем. Это было бы создание, из которого я создал бы свой идеал. Я бы ее воспитал, образовал, она жадно ловила бы мои слова. И я знал бы, что она чиста, в прошлом, в настоящем и в будущем, и нашел бы в ней свой отдых от жизни, уверенное, спокойное счастье...

И, чорт возьми, я хотел бы посмотреть, какой мужчина откажется в глубине души от такого идеала!

Я ничуть не скрываю своего идеализма.

Я говорил об этом всем: моей жене, породистой истеричке, чуть было не задушившей меня галстуком в припадке ревности, но потом рассчитавшей, что пожилой иностранец куда надежнее и, главное, сможет откупаться от таких припадков. Взбалмошной рыженькой Лилит, не без успеха заменявшей пикантностью бесцветность — и души, и тела... Декадентской Александрине, прожившей со своим первым мужем две недели и после шести лет развода и шести же любовников искавшей второго мужа и семейного уюта с ребенком. Зое, женщине с невинными глазами, посаженными слишком близко, как у неандертальских женщин, хотя она была красавицей и звездой на моем небосклоне... Она увлекалась мистикой и пила водку стаканами, объясняя и то, и другое турецкой кровью и природной артистичностью. Русой Магде, высокой и полной, как фламандская корова. Она очень тупо и добросовестно переживала любовь по определенным дням.

Черноокой Катерине с лицом Пиковой дамы в молодости, подходившей осторожно и вкрадчиво и во что бы то ни стало решившей, чтобы на ней женился... Я в промежутках между этими и другими женщинами я находил какую-нибудь милую, маленькую девушку с чистыми голубыми глазами. Но... одной больше всего хотелось пойти в кино, а другая, найдя во мне идеалиста, немедленно рассказывала о том, чего совсем не должна была подозревать ее мама...

Я ничуть не сомневаюсь, что все они считали меня донжуаном, беспринципным человеком, и даже отъявленным подлецом. Но я циник. Меня это радует. Я идеалист. Поэтому мне иногда становится грустно.

А грустнее всего раз в году — в Сочельник. Обычно и начинаю его красивым жестом: покупаю свою собственную елку и старательно увешиваю ее всякой дрянью, которая продается в магазинах. Затем зажигаю свечки по строго определенному числу — по именам всех тех женщин, которые я могу вспомнить. Когда в комнате становится совершенно светло, я сажусь около елки и торжественно выпиваю бокал вина в честь той, единственной, которой у меня не было. А затем отправляюсь, куда попало, или ложусь спать.

Именно в Сочельник механик с знакомого парохода принес мне английские сигареты, лавенду, к которой я питаю неискоренимую слабость, и Чука. С тех пор Чук остался у меня, и это мой единственный друг. Он выслушивает все мои тирады и ко всем относится с завидным спокойствием. Он внимателен и тактичен, и никогда не надоедает. Он не обижается, если о нем забыли. Он ест и пьет только изредка с примерным воздержанием. Он хранит все тайны, как могила, и размышляет о них долго, чуть приподняв усталое веко. Он скромен и тих и никогда не возвышает голоса. А если я прихожу в ярость от того, что еще одна женщина изменила моему идеалу и у нее оказалось пестрое прошлое, мутное настоящее и такое же будущее — то я могу даже колотить им об стенку, и он доставляет мне это облегчение. Чук — философ. Чук — черепаха. Он старше меня, наверно, вдвое и проживет, по крайней мере, еще столько же. И я очень рад этому. Приятно в этом мятущемся мире иметь спокойную уверенность хотя бы в маленькой черепахе.

Но в то же Рождество, когда появился Чук, случилось и

еще одно забавное происшествие. Я пошел в театр, что бывает весьма редко — но он был особенным. Маленькая студия, любители, большие претензии и никаких средств. Для того, чтобы иметь театр, надо большие деньги. Впрочем, любовь к нему обходится еще дороже.

Они что-то делали, гораздо больше говорили, искренне наслаждались и их, конечно, никто не брал всерьез. Шла пьеса с оригинальным названием, ее написала женщина. В конце концов, в наше время, когда все женщины мечтают стать фильмовыми «дивами», или, по крайней мере, походить на них, любопытно посмотреть на другую разновидность. Я спросил Чука, стоит ли пойти. Чук покивал головой. Это было решено.

* * *

Счастье только в сказке снится, чтоб в Сочельник знали люди, что бывает в свете чудо, всех прекрасней и нежней.

И спросил принцессу рыцарь:

— Что же дальше в сказке будет, что же будет в этой сказке уходящих кораблей?

* * *

Старый Город окружен стеною с трех сторон — у моря он стоит, и четвертой, синею волною, путь в него отрезан и закрыт. Там бывает осень золотою, лист кленовый, над стеною щит. Старый Город грезит древней сказкой уходящих в море кораблей. В нем шелка невиданной окраски, крыши в блеклой меде янтарей, мостовые разливают краски драгоценных яшмовых камней. В нем нет злобы, мести и страданий, прокаженных, нищих и воров. Им Дофин в плаще осеннем правит, бургомистр и цехи мастеров. И ни разу не стучался странник у порога городских домов . . .

Но во всех домах желанной гостьей та, чья поступь, как крыло, легка. Так, кто в праздник Осени приносит золото кленового листа, та, за кем Шут свое сердце носит — девушка печальная, Тоска. У ткачей она хрусталь вплетает в шелк тугой натянутых основ, звездной пылью книги осыпает у седых ученых мудрецов . . . И осенним утром посылает журавлей, серебряных гонцов, чтоб в пути далеком над морями

все бы увидали журавли, чтоб, вернувшись в Город, рассказали, скоро ли вернутся корабли?

Здесь их ждать давно уже устали, без надежды жить бы не смогли. Ибо старый Город твердо знает нерушимый и святой обет: В дальний путь за море посылает корабли через каждые сто лет. До того никто не умирает, и детей на улицах здесь нет... Раз в сто лет с богатыми дарами уходящих в море кораблей лучшее пошлется мастерами, матери отпустят сыновей и простится с тайными слезами юноша с возлюбленной своей...

Но вернутся корабли со счастьем, журавли обратно прилетят — только это будет настоящим, даже камни это говорят... Только до сих пор из уходящих не пришел еще никто назад...

Но зато пришли чужие двое: Черный встал под старым фонарем. Пестрый Шут, Веретено Кривое, первый крикнул в городе о нем... И как будто пес, с неслышным воем, крался Красный за его плащом.

И не сразу в Городе сказали:

— Отойди. Ты в нас вселяешь страх...

Он был черный, с впавшими глазами и улыбкой странной на устах. И как медь, шаги его звучали, отдаваясь звоном на камнях.

* * *

В синий вечер, в осень, старый Город собирал на площади совет: и пришельцем Красным был заколот зодчий храма — в мраморе поэт... Бой часов рвал тишину, как молот: исполнялась ровно сотня лет. Корабли стояли наготове: завтра кормчий поведет их в путь... Но толпа, притихшая от боли, не могла и пальцем шевельнуть: здесь никто еще не видел крови, здесь впервые поднималась муть...

Хохотал и издевался Красный над своей легчайшей из побед: Нет, Дофин убийце не опасен, небо громом не разит в ответ — не спасет отрекшихся от басен ни Тоска, ни Шут, ни горний свет. Старый Город жив в хрустальных душах — а хрусталь не трудно замутить! Пусть в них кровь мечтания приглушит, пусть заставит Город разорить, а лампады если кто потушит — так без неба можно тоже жить!

Пестрый Шут, Веретено Кривое, в колокол набатом гулким бьет:

— Солнце мы хороним золотое, солнца не увидим мы восход, солнце бесзакатное за море навсегда от Города уйдет!

Ночь гудит от колокольных звонов, Старый Город ужасом объят. И бесстрастно слышит крики Черный:

— Не вернутся корабли назад!

— Что же делать, если лгут законы, если даже неебеса молчат?!

Только он, стоявший без участья и с Тоски не отводивший глаз — поднял руку с каменным бесстрастьем, будто в вечность кинул этот час.

— Корабли отправятся за счастьем завтра, утром, и в последний раз.

* * *

Море плещет в голубом покое, даль горит изменчиво близка . . . Кто-ж поспорит с синею волною, кто поставит в море паруса? Руль направит твердою рукою девушка печальная, Тоска.

На коленях шлет благословенье Старый Город Девушке своей:

— Помни, от тебя мы ждем спасенья, помни, на просторах всех кораблей, в буре, в штиле, в счастье и в сомненье — сказку уходящих кораблей!

И Дофин, с любимою прощаясь — может быть — наверно, навсегда — листьями ей сходни устилает золотого царского плаща:

— Помни, что умру я, улыбаясь, мне корона больше не нужна . . .

На коленях Город посылает вслед Тоске прощальный свой привет. Ей к ногам бубенчики бросает пестрый Шут, целуя легкий след; у колонны Черный наблюдает, потушив в лампадах храма свет. Что же скажет Город уходящий, что пошлет вдогонку кораблям? На коленях Шут стоит дрожащий, молится, как молятся богам:

— Ты, Тоска, единственное счастье, слово же последнее — шутам!

* * *

Старый Город тихо дремлет в тонком кружеве улыбки, в золотом опаде листьев, в тонкой нити паутин . . . И огни бросает всюду, где проходит тонким, гибким, бледным призраком улыбки Золотой его Дофин . . . В старых башенках молчащих, в четком кружеве решеток, в тонком шелесте упавшем оброненного листа — так напевны звоны сказок, звон осенних грустных четок—так печальна, листопада затаенная мечта . . .

Потому что Старый Город тихо слушает с тоскою, как высоко в бледном небе кинут зовы журавли . . . Потому, что знак сегодня будет бледной дан рукою — золотой Дофин за море посылает корабли, чтоб в пути своем далеком, по морям и океанам, не нашли следа обратно — даль изменчиво близка . . . наши души умирают, мы отравлены обманом — паруса зажглись на море — имя кормчему — Тоска!

Волны моря плещут сказки, волны бьются изумрудом и оплакивают небо в угасающей дали . . . Потому что нам не будет ни прощения, ни чуда — потому что не вернутся с ярким счастьем корабли!

* * *

А потом, под рухнувшей колонной умирал, полураздавлен, Шут. Красные нарушили законы, разоренью Город предадут. И в молчаньи все заметит Черный, появляясь тенью там и тут. Но идет, обломков не касаясь, золотой улыбчивый Дофин . . .

— Я умру, как прожил, — улыбаясь, нет Тоски — и я теперь один. И костер из листьев, разгораясь, превратится в легковесный дым . . . — Оба мы с тобой ее любили — да и можно ль было не любить? Старый Город гибнет в серой пыли. Прошлого, мой Шут, не возвратить. Если ж мы обманутыми были, то без веры мы можем жить.

— Ваша свет . . .

— Без близких и зовущих свой конец шута достойно встреть! Вот идет, ступает он по душам . . . Аве, рыцарь! О на смерть идущих я приветствую, идя на смерть!

Он приходит молча и садится рядом с ним, еще полуживым. Разве шут пред смертью побоится, разве не ушел его Дофин, за Тоску свою в огне молиться, растворяясь в пламени, как дым?

— Уходи. Без дьявола, без Бога я уйду за кораблями в даль... Только — почему звенит дорога? Почему в твоих глазах печаль?

— Душ хрустальных среди вас так много... Их, разбитых, мне теперь... мне жаль.

И уходит все такой же — черный, и с улыбкой странной на губах. Может быть, отринув все законы, он впервые испытает страх? Может быть, уж солнце золотое освещает парус кораблей? Нет, не может. Падает в бессильи... умирать придется одному. Раз Тоска не даровала крыльев, не вернуть последнюю мечту...

Господи...

Последнее усилье... Камни погружаются во мглу... Каждое кольцо должно сомкнуться. Вздох был еле слышен от земли — ветру, дуя с моря, не коснуться тех, кто приподняться не смогли...

— Господи... но, может быть, вернутся... может... быть... вернутся... корабли...

* * *

Да, эта пьеса называлась «Корабли Старого Города». О, Боже!

В маленьком театрике, на окраине города, на грязных серых декорациях шла почему-то вдруг оранжевая полоса, изображавшая цветной парус. Из-за сцены невпопад играла музыка. Кто-то, очевидно, помощник режиссера, нещадно и методично колотил стулом, изображая грохот рушащегося здания... А на сцене в это время метались средневековые шут, Дофин в голубом шелковом камзоле маркиза восемнадцатого столетия, фрачных туфлях с чужой ноги и каком-то кокошнике на голове... Печальную же девушку Старого Города, Тоску, изображала красивая молодая женщина, в сильно декольтированном платье... И, что самое главное: ни один из актеров, кроме Черного и Шута, принимавших все слишком трагически, не только не верил тому, что говорил, но просто не понимал этого.

Я бы предпочел не слушать, а прочесть. Меня заинтересовала мысль.

Автор, появившийся на вызовы — очевидно, знакомых, — заинтересовал тоже. Я уважаю мужество людей, не только

встречающих смерть, но способных еще раскланиваться при этом.

Она держалась внешне очень спокойно: слишком спокойно, сказал бы психолог. Бледное маленькое личико, застывшие глаза и вежливая — вот это меня восхитило больше всего — очень корректная улыбка.

Автор этого невероятного кавардака на сцене несомненно обладал характером. Я уважаю мужество, и подошел к ней с чисто литературной точки зрения. Я пригласил всех актеров к себе, чтобы дать им возможность перекусить, основательно выпить, а главное — отдохнуть, и когда на меня, как на щедрого хозяина перестали обращать внимание, — сел в угол с этой храброй женщиной. Мне кажется, она согласилась поехать только потому, что ей было действительно все равно: у нее был взгляд человека, сделанного из стекла, и судорожно старающегося держаться прямо — если он оступится, то непременно разобьется.

— Я не литературный критик, но зато критик жизни. Это немного больше, хотя и не пользуется таким почетом. То, что вы написали совершенно невозможную пьесу, понятно, и, во всяком случае, легче, чем написать другую. То, что вы решились ее поставить — да еще в таком театре — тоже понятно: в другом бы ее у вас не приняли, а без человеческих дерзаний было бы скучно жить. Все это меня не интересует вообще, а вас теперь тоже. Но я хочу узнать совершенно другое: вы, действительно, отправили в море корабли? Вы, действительно, видели — вот так, как вижу вас — печальную девушку Старого Города, белую, чистую, звенящую Тоску? Вы слышали ее голос?

Против всякого ожидания, бледная стеклянная женщина совершенно твердо посмотрела на меня и ответила, как на исповеди перед смертью:

— Да.

В этот вечер я, может быть, выпил слишком много. Я ей не поверил, конечно, да она и не ждала этого. Но у меня мелькнула блестящая мысль: хоть раз в жизни стать тем, кем мне хочется: грозным, карающим судьей, Провидением, ликом человеческои совести. Я не знал ее жизни. Может быть, она работает на фабрике, может быть, штопает дома чулки. Дело не в этом. Дело в том, что в этой маленькой человеческой ду-

ше, действительно, живет тоска. Настоящая, та, которую, как вера, двигает горами. Откровенно говоря, я никогда не видел ни такой тоски, ни такой веры, ни таких гор, которые были бы ими сдвинуты. Но в этой есть что-то. Есть. И вот мы с ней заключим условие.

— А когда корабли вернутся?

— Не знаю... И не знаю, вернутся ли...

— Но вы будете ждать? Долго?

— Пока живу...

Восхитительная смелость — если только это правда. Но, может же раз в жизни человек, такой человек, как я, добиться правды.

— Вот что, принцесса. Принцессой я вас буду называть потому, что после всех ваших сказок обыкновенные имена кажутся бесцветными. В сущности, вы больше всего походите не на принцессу, а на моего Чука... Не знаете Чука? Это мой единственный друг... Вы такая же серенькая, скромная, некрасивая..., и у вас такие же умные глаза... Мне кажется даже, что вы прячетесь в свои сказки, как Чук в свой панцырь... И так, принцесса Чук, я заключаю с вами условие: обычное знакомство с вами, как с женщиной, меня удовлетворить не может. Откровенно говоря, я боюсь, что тогда разочаруюсь еще скорее... но я буду следить за вашей жизнью издали... И вы давайте о себе знать... о себе и о ваших кораблях. Если дождетесь их — скажите. Но я этому не верю. Когда же вам надоест ждать и вы засунете эту сказку в самый пыльный ящик или совсем даже забудете о ней — вот тогда... о, тогда я появлюсь перед вами, как некий архангел с разящим мечом моего разочарованного высокомерия, как этот ваш Черный... Но Черный разрушил то, что было создано — я же буду упиваться тем, что оказался прав: корабли посылают в море только слабые мечтатели, не могущие ничего создать, тоска не дает крыльев, и весь этот сентиментальный бред быстро выветривается жизнью, и от него не остается ничего — слышите — ничего!

— Я принимаю ваше условие, — сказала она совсем просто и даже протянула мне руку, — но совсем не потому, что вы наговорили мне столько обидных слов.

— А почему же, принцесса Чук?

— Потому что вы- такой великолепный психолог и такой разящий архангел, больше всего хотите поверить — и больше всего боитесь, что вас заставят это сделать.

Нет, честное слово, у нее был характер. Впрочем, у моего Чука тоже. Я согласился. Я провел интересный вечер и твердо решил наблюдать издали за ее жизнью.

* * *

Людям, старательно рассчитывающим, что если сейчас они возьмут в рассрочку кресло, то через несколько месяцев смогут купить диван, взрывы моей фантазии совершенно непонятны. Я и не претендую на это.

Я знаю, что наше время не для доморощенных Уайльдов. Но я обладаю завидной способностью жить так, как мне хочется, и живу поэтому совсем не плохо. Некоторые называют меня авантюристом, но по-моему, я просто спортсмен только в лучшем значении этого слова. Я даже уважаю человеческие законы — настолько, конечно, чтобы не попасть на скамью подсудимых, потому что это и скучно, и некрасиво. Иногда я говорю правду — и мне, конечно, не верят, хотя немногие, хорошо знающие меня считают, что я — великолепный человек. Это потому, что им со мной легко: я их стараюсь не видеть. «Я вежлив с жизнью современною, но между нами есть преграда: все, что смешит ее, надменную — моя единая отрада» . . .

Мне очень жаль, что это сказал Гумилев, а не я.

Наблюдать за жизнью принцессы Чук было очень просто: несколько общих знакомых, встречаемых изредка, передавали мне все сплетни и настоящие события. В ее жизни было ужасающе мало событий. Я думаю, что иногда приходилось в течение нескольких дней, даже, может быть, часов, переживать больше. Но это чисто внешне, конечно. Во многих священных книгах говорится, что в душе человека может быть и рай, и ад, и даже микроскоп учит нас тому же . . .

Принцесса Чук вела обычную жизнь женщин, с самого детства выбитых из колеи: она пыталась что-то петь и рисовать, вышивала бисером и шелком, писала школьные пьески, вышла замуж за бедного, благородного и хорошего человека: он любил ее, она любила его, оба по разным причинам, но так же неудачно — словом, искания, стремления, желание

создать себе какой-то дом, уют, сделать жизнь красивой, и, конечно, разбитое корыто, уходящие годы, силы, разочарования, серость . . . и так далее, и так далее, — право же, все это слишком знакомо и повторяется на каждом шагу.

Так, по крайней мере, выглядело все это издали, а вблизи, я думаю, было бы не лучше.

Изредка мы встречались. Она была попрежнему одета очень скромно, если эти тряпочки называть платьями, но в движениях было больше равномерности. Тоже вроде моего Чука: маленький танк, ползущий на полусогнутых ногах задумчиво и упорно.

Только в глазах не было испуга, хотя они продолжали оставаться прежними: тревожными и горячими, зовущими куда-то. Иногда мне хотелось подойти поближе, окунуться в них: ну что же в том, что она такая же, как все? Может быть, в ней есть все-таки свой, особенный и мне почему-то близкий, отзвук. Может быть, я мог бы помочь ей, чем-нибудь подбодрить . . .

Но я не подходил. Я взял на себя роль наблюдателя, а для этого нужна твердость. Я должен был сразить эту женщину так же, как сразил других. И тогда я смогу успокоиться. Давно пора.

Очевидно, она помнила о нашем условии. Может быть, тоже — издали — наблюдала за мной. Во всяком случае, она знала мой адрес. Это я узнал по тому, что получил однажды — не письмо, а объемистую рукопись. И больше ни строчки. В характере ей, действительно, нельзя было отказать. Только поперек первого чистого листка было написано от руки: J'y pense.*)

* * *

Счастье только сказкой снится, чтобы в мире знали люди, что бывает это чудо, всех прекрасней и светлей . . .

И спросил принцессу рыцарь:

— Что же дальше в сказке будет, что же будет в этой сказке уходящих кораблей?

Путь людской, как их дела, не долог, всех людей творенья — только пыль . . . Где слова звучали, точно молот, больше слов никто не говорил, и про то, как жил и умер Город со-

*) Я об этом думаю.

хранилась лишь легенда — быль . . . Но другой построен был на месте том же самом — пышен и богат. Бургомистр в богатстве жил и в чести, горожанок в золоте наряд, даже странно было б думать — если корабли вернулись бы назад . . .

Но из самой неизвестной дали к берегам оставленной земли подошли, сверкая парусами, посланные в море корабли. В удивленьи жители кричали и толпою к пристани пришли. Корабли — невиданное чудо! Без матросов, в ярких парусах. Головами покачали люди. Зазвенели цепи в якорях. Этот звон тоску в душе разбудит . . . И Тоска стояла на мостках.

— Старый Город, Старый Город, слушай! Корабли пришли к тебе назад!

Ни сердца не дрогнули, ни души . . . У людей не загорелся взгляд. Раз лампады кто-нибудь потушит, то огни в них больше не горят.

— Мы тебя не знаем, чужестранка, — так сказал Франциск, святой отец. — Кто ты? Еретичка? Христианка? Девушка? Колдунья, наконец?

— Ты меня не слышишь, Город? Странно . . . неужели нет у вес сердец? Неужели души в вас застыли? Или нет . . . понять я не могу . . . Вы, ведь, те, какими раньше были, Город, ведь ,на том же берегу? Неужели вы меня забыли — Старый Город не узнал Тоску? Помнила и в буре, и в несчастьи на ушедшем в море корабле, что вернуться надо с настоящим, тем, что не бывало на земле — Старый Город, мы искали счастье за морями — а оно в тебе! В том, что мы молились и мечтали, слушали, как кличут журавли: что хрусталь мы в душах сберегали, и тоску мы в сердце сберегли — в том, что мы за море посылали и ее, и наши корабли!

Но у всех — в молчаньи хмуром лица, никого не будит эта речь. Ожила легенды ли страница, или дьявол хочет их увлечь? Или сказка детская им снится? Нет, колдунью надобно стеречь.

Опустела пристань: дремлет стража .И подходит к кораблю монах. Тот же — Черный. И улыбка та же, только дрожь заметная в руках.

— Узнаешь?

— Тебя узнала б даже, если ты внушал мне прежний страх! Ты теперь один остался, Черный. Ты и я, и наши корабли. Но, ведь, был он, Старый Город, вспомни, ты все зна-

ешь . . . можешь . . . помоги! Я молю коленопреклоненной — Старый Город, Город мне верни!

Но устало Черный поднимает каменное, мертвое лицо: лишь глаза попрежнему сжигают, так же, как сожгли они давно . . . И Тоске он глухо отвечает:

— Если мог бы . . . если мог я — все!

* * *

В ночь идет, колеблясь от сомненья, та, чья поступь, как крыло, легка — вымолить последнее моленье шорохом кленового листа — бледной и дрожащей зыбкой тенью — девушка печальная, Тоска. И такой же тенью неживою, как туман, колеблющийся дым — пестрый Шут, Веретено Кривое, ей идет навстречу, а за ним — под плаща покровом золотого с бледною улыбкою Дофин.

— Мы пришли тебя пред смертью встретить — ведь, сегодня в городе совет. Те, кого слеза твоя отметит, на земле другим оставят след — мы пришли, Тоска, тебе ответить, что и в смерти даже — смерти нет!

Но напрасно простирает руки к ним Тоска и бьется на камнях. Эти камни заглушают звуки, и молчанье в городских стенах, и еще невыплаканные муки, и темнеет свет в ее глазах . . .

В ратуше, в высокой мрачной зале, собрался весь город на совет.

— До сих пор колдуний мы сжигали, так каким же должен быть ответ?

— Да, она покается едва ли . . .

— Так костер колдунье или нет?

— Может быть, она нам путь открыла, для купцов неведом до сих пор?

— Может быть, и правду говорила — ведь, легенда тоже не позор . . .

— Может быть, народ она смутила?

— Еретичку надо на костер!

И тогда поднялся со слезами зодчий храма, благостный старик:

— Разве все сердца у вас, как камень; сказку вы узрите хоть на миг, девушка чиста, как ясный пламень, светел вдохновенный ее лик!

Многих это тронуло волненье, многих взволновала его речь: но тогда поднялся Черный тенью, страшной тенью от мерцавших свеч:

— Кто из вас Тоску предаст соженью? Ведь, колдуний город должен жечь.

И из рук со звоном покатились, из широких черных рукавов — звонкие червонцы — золотые. Их хватали жадно и без слов: мертвые ли сказки иль живые, тут уж слушать нечего отцов!

Только зодчий подошел бесстрашно:

— Черный брат, лицо свое открой!

Но увидев лик его ужасный, он упал бездыхан, неживой — Черный же, с спокойствием всегдашним, вышел, незамеченный толпой.

И, наверно, люди не видали, как прошел по улицам монах, наклонился с странною печалью над Тоской, лежавшей на камнях... И, как медь, шаги его звучали, когда нес ее он на руках.

* * *

А на утро он стоял у мачты, у которой сложен был костер.

— Я умру, но обо мне не плачьте, я будила Город до сих пор — я уйду, но вы на сердце спрячьте и слезу мою, и ваш позор. Странный сон последней ночью снился: поцелуем чьим уста горят? Ни Дофин, ни Шут... туманный рыцарь... Ты ли, Черный, здесь стоишь, как брат? Я уйду с улыбкою — молиться, но я снова возвращусь назад!

И когда огонь костра взметнулся, ото всех закрыв ее плащом — Черный вместе с нею улыбнулся — ласкою последней пред концом...

К пристани, когда же обернулся — все замолкли пред его лицом. Дым костра поднялся, расстилаясь, город запылал в его огне... Падали и бились, умирая люди, задыхаясь в душной мгле.

— А она погибла улыбаясь! Продали Тоску кому вы? Мне!

* * *

Счастье только сказкой снится, чтобы знали в мире люди, что бывает это чудо, всех прекрасней и светлей...

Но молчал туманный рыцарь...

Что же дальше в сказке будет, что же будет в этой сказке уходящих кораблей?

* * *

Я прочел эту пьесу несколько раз. Может быть, она была слишком по-старомодному вышита драгоценными камнями, но разве не может такой современный циник, как я, позволить себе эту роскошь? Тем более, что у меня нет никаких литературных вкусов. Я считаю ее большим художественным произведением. Она несколько проиграла бы в моих глазах, если бы я знал, что принцесса Чук знакома с ересью Оригена. Но я был уверен, что она не подозревает о ней. Принцесса Чук, наверное, не думала, что нашла во мне такого пламенного читателя. А знать об этом она не могла никак. Я положил рукопись в чемодан и увез его с собой заграницу, где у меня были спешные дела. Да, да, вот именно так, а не, как полагалось бы в приличных старомодных романах и современных фильмах: восхититься, воспылать, помчаться к ней, сказать, что она — талант, драматург, поэт, художник и прочее. Вскружить ей голову и потом разочаровать ее и разочароваться в ней, в жизни, во всем.

Пламенные восторги прекрасны только, если они совершенно отвлечены и не идут дальше души. Нужно быть гурманом. Если человек — идеалист, то он должен очень осторожно подходить к жизни.

Заграницей я встретил знакомого директора театра и дал ему копию рукописи, когда он пожаловался на отсутствие подлинных пьес:

— Вот вам великое художественное произведение молодого таланта, погибающего бесславно в глуши. Он пробавляется школьными пьесками, а оно никогда не увидит света. Я в этом так же уверен, как и вы.

Когда я вернулся обратно, то узнал, что принцесса Чук служит теперь в стеклянном магазине. Раз даже прошел мимо витрины. Кажется, даже видел ее руки, передвигавшие какую-то голубоватую вещицу. Тем лучше. Это ей идет: непризнанные поэты хрупки и ломки, они умеют обращаться со стеклом.

Но Чук, мой настоящий Чук, которому я поверял все, может быть, только потому, что он не слишком интересовался

этим — Чук что-то очень долго качал головой, и я понял, что он знает гораздо больше меня.

* * *

Счастье только сказкой снится, чтобы в мире знали люди, что бывает в душах чудо, всех прекрасней и светлей . . .

И сказал туманный рыцарь:

— Знаю. Было так и будет. Знаю я, что дальше будет — то, что счастье в этой сказке уходящих кораблей.

* * *

Старый Город, Старый Город, слушай:

Ты живешь, как жил и до сих пор: и Тоски молитвы не заглушат ни грехи, ни камень, ни позор — Старый Город жив в хрустальных душах, — осенью горит его костер.

И придут в назначенные сроки в Старый Город на краю земли все, кто будет близким и далеким, кто увидит в небе журавли, кто таит на дне души глубоко посланные в море корабли. Ибо так поведали законы: власти нет у смерти над душой, если даже темный — если Черный полюбил, захваченные мечтой, если он склонился, непреклонный, перед человеческой Тоской!

И когда он снова возродится. Старый Город, в сердце у людей, сказкою им счастье будет сниться, нет ее прекрасней и светлей — вместе с Черным будем мы молиться за Тоску ушедших кораблей!

* * *

Перед Рождеством у нас на площади устраивается ярмарка. Балаганы, ларьки, игрушки, картинки. Качаются Деды-Морозы на подвесочках, за голубым прилавком пекут хрупкие трубочки — вафли, такие вкусные, когда под ногами хрустит снег, и зимний туман колышет шары фонарей.

Мальчишкой я всегда бегал на ярмарку. Пошел и сейчас.

Откровенно говоря, предпраздничная суетня всегда немного выбивает меня из колеи. Надо опять зажигать свою елку, вспоминать, иногда даже и вспоминать надоедает, хотя я

твердо соблюдаю традицию. А самое главное — вместо стройного хода мыслей какой-то сентиментальный кавардак.

Наверно, только поэтому я вошел в ярмарочное отделение стеклянного магазина: лампы, блюда, вазочки, фигурки для модных полок. Я не собирался покупать их. Я вошел потому, что увидел принцессу Чук. Она стояла за прилавком, в форменном черном платье с кружевным воротничком и серебряной монограммой на груди. Перед нею была прозрачная витрина и в ней... бывают же такие совпадения в жизни! Не в ней, где торчали разные фламинго, а над ней, на невидной сразу проволоке — качались, плыли в сверкающем свете стеклянные хрупкие корабли. Я снял один из них, поставил на ладонь. Он отблескивал серебром, перламутрово розовым, голубым, сиреневым. Звенели прозрачные паруса... уходящих кораблей!

Сколько времени прошло с тех пор, как я первый раз посмотрел в глаза этой женщины и спросил, долго ли она будет ждать?

— И вы еще ждете, принцесса? Вы еще не забыли корабли?

Мы были одни в магазине. Чуть позванивали подвески на какой-то люстре.

— Кораблей не забывают, рыцарь, — ответила она и улыбнулась. Улыбнулись не только губы — глаза тоже, и мне показалось вдруг, что стеклянная ниточка врезалась в грудь — так остро и больно, что закружилась голова. Я только теперь понял, что у принцессы Чук — моей принцессы — были глаза Тоски...

Она знала. Верила. Ждала. И для нее не было смерти — ни иллюзий, ни надежд. Может быть, даже смерти вообще.

Я стоял, боясь раздавить в сжавшихся пальцах игрушку.

— Вот видите, — показала она на нее и улыбнулась снова. — Этот стеклянный бриг я повешу на свою елку. Когда все уйдут, и я останусь совсем одна, буду сидеть перед ней, смотреть, как стелется дым от свеч, как плывет, качаясь в тумане, звенящий прозрачный корабль. Далеко, в синий туман за окном, в дали, в моря. Странный вы человек! Мне кажется, что я вижу вас последний раз и поэтому хочется сказать вам самое важное.. а, может быть, и потому, что скоро — Сочельник. На вашей елке не будет стеклянного брига...

Помните, я сказал, что вы боитесь поверить? Так вот, прошло ведь, не несколько дней — а несколько лет. Вы знаете мою жизнь. Работа, служба, дом . . . были любимые и нелюбимые, было что-то достигнуто, много потеряно. Потерь не считают. От них или гибнут, или светлеют. Но помните, туманный рыцарь: если сейчас, или через несколько лет я умру, и Кто-то, имеющий власть, спросит меня:

«Что ты сделала в своей жизни?» То я отвечу Ему, не задумаваясь:

«Господи, я больше всего любила одного человека, который об этом не знал, и послала в море свои корабли».

Я молча поклонился. Поцеловал ей руку. Ушел, унося с собой — маленький стеклянный кораблик в картонной коробке.

* * *

А на следующий день я получил письмо. От своего заграничного приятеля. В письме было вложено два плотных листка блестящей бумаги — два контракта. Пьесу моей принцессы покупало крупное английское издательство, и ее ставил большой театр. И гонорар был большим, — даже для меня, а для маленькой продавщицы в стеклянном магазине — потрясающим.

Я долго сидел перед этими листками. В них — перевернутая жизнь. Новая, светлая, радостная — жизнь человека, который может теперь говорить — и его услышат. А когда принцесса Чук говорила раньше?

Я вспомнил испуганные глаза, судорожно улыбающиеся губы, стеклянную фигурку на сцене маленького театра. И те же тоскующие глаза, тот же свет в знающей, молитвенной улыбке — теперь. Так улыбается тот, кто верит. А я не поверил ей. До вчерашнего дня. Я был слишком большим идеалистом. Я не подумал о том, что идеалистов нельзя найти на земле, но можно найти в них веру.

Если бы мой Чук был циником, то я думаю, что он наверно бы смеялся, качая своей плоской головой. Первый и последний в моей жизни я был потрясен. И я улыбался, потому что мне очень больно — а я давно не испытывал такой боли, от которой хочется улыбаться и плакать.

Я пошел в ювелирный магазин, где меня сочли за сумасшедшего, потому что я осведомился, можно ли прикрепить на панцырь живой черепахи серебряную пластинку. Но это оказалось возможным. Может быть, Чуку и было немножко больно, но он промолчал.

В Сочельник на елке у меня горела только одна свеча — перед стеклянным бригом.

В Сочельник я отправил ей большую коробку. Внизу лежало письмо моего друга и два контракта. На них — ландыши — самые нежные цветы на Рождество. А в ландышах зарылся мой мудрый Чук, мой единственный друг, которого я любил больше, чем следовало, потому что мне следовало любить —ее.

И на панцыре Чука шла серебряная пластинка с надписью: **J'y crois***)

* * *

За тех, кого угасают зори, кто смерти не в силах в себе превозмочь, за все корабли, уходящие в море, помилуй нас, Господи, в эту ночь! И тем, кто пытается бездны измерить, и всем тоскующим этой земли — дай, Господи, силы и счастье верить — людским молитвам, Господь, внемли! За тех, у кого наступает вечер, для тех, кому запылал рассвет — затепли на небе и в сердце свечи, пролей им в душу небесный свет!

Пусть были грешны душой и телом — за все корабли в тумане морей — внемли молитвам Пречистой Девы, дающей радость от всех скорбей.

И всех, уставших итти по дороге, идущих мимо пустых могил — и даже тех, кто забыл о Боге — помилуй, Господи Вышних Сил!

1938 г. Рига.

---

*) Я в это верю.

АХОЙ!

Посвящается Любови Ярославовне Васильевой.

Туманятся снежной пылью, и вихрем метутся дни... Господь, чтоб Тебя не забыли, мы в ночь зажигаем огни, а тех, кого мы любили, помилуй и сохрани!

Мы все не знаем, что будет, чему обрекли себя: мы все — убогие люди, и нам дорога земля. Но дома мы не забудем, на палубу став корабля.

Когда же рождественский вечер мерцает тысячью звезд, то сердце тоскует по встрече, и сердцу теплей от слез: а нами зажженные свечи не может задуть норд-ост. И если в туманной дали укрытая даль молчит, — то можно ль, чтоб мы забыли, раз сердце тоской звенит?

Сочельник — это сказанья, печальные звоны саг... А в сердце — воспоминанья, и это великий маг. Любовь же — всегда страданье, и это должно быть так.

Норд-ост под окном стучится, на стеклах туман разлит, и ночь, как замерзшая птица, в глубоком снегу лежит...

В Сочельник нам должен сниться маяк золотой Ингрид.

* * *

Твое письмо лежит у меня на столе, Тамань. Длинный конверт, пестрые чужие марки, толстая дорогая бумага. В нашей лавочке, между старыми керосиновыми бочками и деревянной карамелью, совсем другая бумага... И твоя жизнь кажется здесь такой же чужой и непонятной.

У нас Рождество, Тамань, и у вас оно тоже. Как хорошо, что хоть что-нибудь вместе . . . У тебя елка большая, наверно, до потолка. В сущности, моя тоже могла быть большой: вырубить на опушке, какая понравится, пушистую, раскидистую, с шишками, привезти на саночках . . . Но Викинг сказал, что она займет слишком много места — мы срубили маленькую и поставили на столике. Даже нет ни одной игрушки — просто конфеты и свечки, и две плетеные корзиночки из бумаги — принесли ученицы. Теперь война, и нельзя тратить деньги на глупости.

Письмо пишу за столом, рядом с елкой. В комнате стоит еще старый диван, два жестких плетеных кресла, и этажерка со скучными книгами. Это наша парадная комната — «зала», действительно лучшая во всей деревне, в особенности после того, как я содрала все вязаные салфеточки. Они были повсюду, даже на плевательнице, их вязала моя свекровь. У нее жестокое рыбье лицо, узловатые руки и тяжелый голос. Не человек, а старый скрипучий сундук, засунутый в сборчатую юбку и шерстяной платок. И слова такие же жесткие и нудные, как эти добротные вещи, в старых сундуках. Они вынимаются редко и никому еще не доставляли радости.

Она всегда неодобрительно поджимает губы при виде моих попыток изменить здесь что-нибудь. Но я ничего не изменила, Тамань. На керосиновой лампе абажур с дурацкими цветочками, на моей постели высокие перины, а когда окончательно истреплется чудесное шелковое одеяло с китайской вышивкой — помнишь, как оно всегда тебе нравилось? — то я, наверно, только вздохну и заменю его толстой шерстяной дерюгой или этим ужасным ситцевым лоскутьем, которое она копит в сундуке. Но салфеточки я ненавижу! И ее тоже.

Ты себе представляешь мой дом, Тамань? Впрочем, он не мой. Дом был у папы. Ты помнишь его уже стариком — да и я тоже, он меня всегда называл своим Вениамином. Как только он продавал картину, начинался кутеж: мы отправлялись в кондитерскую пить шоколад, а потом накупали

массу всяких вещей, очень, по моему мнению, необходимых в хозяйстве. Что сказали бы в этом доме, если бы я пришла сияющей и довольной, с ворохом пакетов, и в них: удивительные платки для драпировок и оранжевые лакированные табуреты с лампочками под сиденьем — для совсем еще невиданного «нижнего света»?

Иногда мне даже стыдно рассказывать не ей, конечно, а Викингу. Для них это жизнь миллионеров, да и ее то они не могут себе представить, а папа был только хорошим художником. Вот как сейчас его вижу: длинные седые волосы, тонкие руки. Он многое знал и научил меня разбираться в школах живописи, в оттенках красок, в истории стилей и во многом другом, что годится сейчас только для антикварного магазина. И он научил меня, что если хозяину не заплочено за квартиру, а золотой портсигар отправлен в ломбард, то это совсем не страшно. Будет продана следующая картина, и . . .

— Помни, — говорил он всегда — деньги ничего не стоят, Гораздо важнее, сможешь ли ты отличить свет вечерней зари от утренней. Гораздо важнее, как ты чувствуешь солнце; деньги же созданы только для того, чтобы их тратить. А это надо уметь, Иолик.

Папа называл меня Иоликом — не любил Юлии. Наверно, мечтал иметь сына, такого же красивого и талантливого, как он . . . Как я любила рисовать в его мастерской с холодным северным окном, с запахом скипидара и холстов!

— Может быть . . . из тебя что-нибудь и выйдет. Краски ты чувствуешь, это верно, настроения много. Ну, поучишься . . .

Бедный папа! Он и тогда уже знал то, что я знаю только сейчас: у меня нет настоящего таланта. Я могу рисовать — картинки.

И вот эту тоже пришлю тебе когда-нибудь: то, что вижу из окна своей комнаты: деревенская улица, сугробы голубо-

го снега, желтая вывеска лавочки, синий дым из труб над белыми крышами, скупые оранжевые огоньки в окнах, низкое серое небо. Это рождественская картинка, Тамань, такие рисуют на открытках и пряниках, а я вот живу в такой картинке, и иногда мне кажется, что все это не настоящее, и все мы здесь, и я — маленькие смешные фигурки на старой табакерке с колокольчиками. Вот они и зазвонили — дини-дини-динь. Проехали синие крашеные санки. Наверно, пастор — это важный гость.

Есть еще и другие развлечения, Тамань. Поездка километров за тридцать в местечко. Муж ездит каждый месяц получать жалованье, сделать закупки. И еще дюны — низкое небо, растрепанные сосны, гулкое зеленое море, ломаный лед. Лодки, сети, ветер. Так было здесь и пятьдесят и сто лет тому назад. Меняются мелочи. Раньше девушка мечтала о швейной машине, теперь предпочитает велосипед. Раньше щеголеватый рыбак заводил грамофон и топтался под вальсы в сапожищах, от которых несет рыбой и салом, теперь включает радио и с тем же тупым лицом слушает будапештские скрипки. А все остальное — бури и скудные поля без красок, поджатые губы, каменные глаза, прямые, простые души — все это так, как было — всегда, давно . . . Неправда, что есть большие города, блестящие улицы, автомобили и магазины, музеи и театры. Неправда, что где-то идет война. И пароход, на котором ты плыла в каюте под тысячным номером, и аэроплан с кожаными креслами, на котором ты улетал, Тамань, — все это неправда, этого нет, это туман и жесткая, как шерсть, пена.

У окна стоит плетеное кресло. Окно стало голубым от сумерек, а сбоку — оранжево-желтый свет керосиновой лампы. Выгнутые прутья в голубых и оранжевых переливах кажутся кружевными и хрустальными — но это только кажется так. Вот и моя жизнь, такая же — кажущаяся картинка.

Сколько строчек в твоем письме начинается словом «помнишь»? И какое это острое, больное слово, Тамань! Но ты делаешь мне больно еще и другим — тем, что не знаешь, и говоришь о том, что уже поздно. Поздно! Мне бы хотелось

выкрикнуть это слово. Но в этом доме не плачут, а кричат здесь только на лодках — ахо-о-ой... Ахой, Тамань!

* * *

Есть берег в туманной дали, закован броней из скал. Когда к нему подплывали, держали цепко штурвал, — и чайки потом кричали отходную, как хорал. В разрезах шхер и фиордов, на самом виду земли, рвал ветер их парус гордый, и камень рвал корабли. Из тех, кто плыли — немного пристать к берегам могли. Но там, где кончались скалы — вода, как фиалок цвет. Там сосны стеной стояли по сотне и больше лет, а замок был цвета стали — был замок в гранит одет.

И там плененной мечтою жила принцесса Ингрид. Звалась она Золотою — как золото, смех звенит и шелк золотой — косою, как шлейф, за спиной разлит. Под небом Севера дальним глаза, как фиалок цвет. И пели седые скальды, что глаз лиловее — нет. А можно ли быть печальной принцессе в семнадцать лет? Когда под легкой ногою не мнется ковер из трав, а сердце горит мечтою пронзительней всех отрав: когда приходит весною сын викингов, принц Олаф.

Кто может с принцем сравниться? Кто песни поет звончей? И есть ли на Севере рыцарь, кто был бы его смелей? Корабль у него, как птица — лишь чайкам тягаться с ней! Олаф чернокудр и молод и тянет Олафа в даль... Печален Севера холод, и в сердце Ингрид — печаль... Весенний хрусталь расколот, весеннего льда — не жаль.

— Ингрид, нам надо проститься, мне душно в родной стране. Корабль мой летит, как птица, и меч не изменит мне. А если ты будешь молиться — вернусь я к новой весне!

* * *

Помнишь, Тамань? Перед Рождеством ты прибежала ко мне в новой шубке. У нее был пушистый воротник, а на вуальке у тебя таяли снежинки. Ты сама была такой новой, таинственной, и вся переливалась и блестела, как эта снежин-

ка. Такой можно было быть только в нашу голодную и веселую юность, когда новая шубка была громадным событием.

Белокурый медведь, с которым ты кокетничала напропалую, твоя «собачка», умильно держал тебя под локоть. Вы потащили меня печь пряники.

Домик стоял в садоводстве, у самых оранжерей. Помнишь, как ты хотела вырастить в оранжерее ковыль? Скажи, почему все это такое простое и убогое, казалось таким хорошим и уютным? И «место старшего заместителя при младшем дворнике» твоего мужа, лопаты и грабли у входа в домик, конечная остановка трамвая у ворот. А в комнате один угол занимала плита, другой — печка с иконами, в третьем спала Нина, а четвертый принадлежал тебе. Я всегда говорила Борис Палычу, что в каждой порядочной комнате должно быть по крайней мере пять углов — ты всегда выгоняла его из своего. Бухалась на ковер, на вышитые подушки — каждую вышивала по году, потому лентяйка — и обхватив колени руками, под моей картиной — оранжевой юртой на фоне выжженной степи и желтого неба — раскачивалась и пела монгольские песенки.

Ши намэ . . . серчон хылэ . . . зор ген . . .

Так и видишь перед собой: темно-синие небо, какого у нас не бывает никогда, торжественные звезды, оранжевый костер, темная, как небо, степь. Медные лица, прижатые ноздри, пестрые важные халаты, пляшущие тени за спинами в раскачку. И этот, как будто вздыхающий, протяжный, как степь, печальный и мудрый напев: «Ши намэ» . . .

Только в наше сумасшедшее время могли уродиться такие «киргизки», как ты, Тамань. Шаталась с отцовским полком по степи, вышивала бисером в юртах, выкрасила волосы хенной, в шестнадцать лет вышла замуж и через два месяца стала вдовой.

Я любила твои глаза трогательной грешницы, сумасбродность и даже упорное незнание всего, что не касалось лоша-

дей, юрт, наганов и... рыцарских доблестей. А в них ты была куда сильнее меня.

Помнишь, как я однажды уверила тебя, что «кватроченто» это итальянское блюдо с рисом, а нумизматика — неприличная болезнь, и как хохотал Борис Палыч, пока мне в голову летели все твои подушки?

А ты звала меня «старой девой» и всячески старалась, чтобы я «закрутила с кем-нибудь».

Пока мы только крутили пряники. По вдохновенному рецепту старой тетки рубили, месили и морозили тесто. Медведь — «собачка» раскатывал его на всех столах. Пол был засыпан мукой, печка грозила расплавиться, пряники горели: но это ужасное тесто не уменьшалось. И еле стоя на ногах от усталости, замурзанные и растрепанные мы втроем, под сочувственный басок Борис Палыча распевали только что написанную мной песенку: «Пряничное сердце принеси мне в подарок» ...

Я подрабатывала иногда рефренами для нотных издательств. Немножко сентиментальности, немного смысла и мало поэзии, но ты, по простоте души, искренно считала их гениальными. Правда, над этим «Пряничным сердцем» я сама плакала от радости. От радости, потому что ждала, что мне принесет его «он» — смеющийся, ласковый, с нежными руками и такими подмывающими мальчишескими глазами.

А ты не знала, чьи эти глаза, и изводилась.

* * *

В Сочельник мальчишка у газетного киоска насвистывал «Пряничное сердце». Песенка стала модной. В Сочельник я получила коробку в шуршащей бумаге с елочками. Пряничное сердце. И, если на свете есть волшебные вещи, то оно было одной из них.

— Вы сегодня светитесь изнутри, Иолик, — сказал Борис Палыч.

Как же можно не светиться, если Сочельник распахивает блестящие двери, если Александр понял, что эта песенка написана ему?

Помнишь, Тамань, как я собиралась на вечер? Светские романисты в таких случаях пишут: «Роковой бал»... Светские люди — бывают и такие — а Александр — секретарь посольства — распорядитель на балу, не мог, конечно, знать, какой адский винегрет вызовет его приглашение. Сперва я решила отказаться. Ты умоляла меня пойти — не совсем бескорыстно, потому что тебе хотелось узнать, чем это кончится; все платья оказались негодными, мы едва не переругались на смерть. В парикмахерской мне прижгли шею, каблук у старых серебряных туфель сломился, и Борис Палыч забивал его «субтильным», по его мнению, гвоздем, ты ободрала себе рот булавками на примерке, перчатки были вдвое дороже, и у меня не осталось денег даже на трамвай. Но в кружевной мечте, присланной твоей американской тетушкой, я казалась красавицей даже себе — бесталанность часто требовательнее других, Тамань.

Это был самый сверкающий и пленительный бал в моей жизни, потому что ... я на нем не была. Александр встретил меня у ворот посольства. Он решил, что распорядительство отнимает у него слишком много времени — почему бы нами не провести этот вечер вдвоем?

При жизни папы в нашем доме бывали такие люди: они делали то, что им нравилось, и это нравилось другим.

* * *

Я обещала тебе рассказать все, Тамань, но как это трудно, даже сейчас. В прошлом веке романы начинались так: «... Наш герой родился ... и на ста следующих страницах история детства и отрочества. О своем герое я знала гораздо меньше: Александр Басманов, знает языки, служит в по-

сольстве, и я его люблю. Красив? Пожалуй. Циничен? Наверное.

Маленький кусочек биографии, рассказанной им самим.

— По России шатался везде, особенно в гражданскую... Два раза был женат: в Нарве и Туркестане. В Нарве, потом, во второй раз, и, как оказалось, для того, чтобы доказать ангельской сестрице, что не стоило спасать от тифа подобного субъекта. А в Туркестане — впрочем может быть это были какие-нибудь другие степи — чорт меня знает — почему. Лошадь понравилась, а она не хотела меняться. На пари. Сказал, что будет моей. Лошадь. Ну, и девченка на придачу. Дочь командира, шаталась с полком. Рыжий мячик в бриджах. Выиграл пари и, к счастью, овдовел тут же.

— Ее убили?

— Нет, не знаю, что с нею стало — но зато меня расстреляли. Не верите? Вот здесь на затылке — посмотрите — шрамы до сих пор остались. Да, этим не каждый может похвастаться. В девятнадцать лет бывают чудеса...

Мне казалось чудом не только это.

— Хотите знать еще что-нибудь из моей жизни?

— Да. Сказку.

— Когда у нувориша попросили автограф, то он с сожалением развел руками: «Чего нет, того нет»... Вы слишком старомодны для современности. А жаль.

— Современности?

— Нет, но вот, ведь, все, кажется, было: где только ни бывал, чего не видел, а сказки не разглядел... Не было. Есть у Вертинского такая песенка: ... «Мне так хочется маленькой сказки, детской сказки про сон золотой»... А вы ведь тоже песенки пишите?

— А вы дали мне сказку...

— Всерьез?

— Всерьез и надолго.

— Ну, если у меня и это нашлось, то просите у меня хоть полцарства. Другую половину, конечно, я должен оставить для себя. Качаете головой? Что ж... когда-нибудь пригодится: полцарства на полу не валяется, а эта половина за вами, когда бы вы ни потребовали...

Мы говорили до утра, и не только говорили.

* * *

Помнишь, Тамань, я пришла к тебе после «бала»? Уткнулась в подушки и колени.

— Ты его очень любишь, Юлька?

— Не знаю. Кажется, раскрыла руки и обняла солнце. А солнце пахнет, как жасминный куст в летний день. И горячо, и страшно, и звенит, и слепит, голова кружится.

Ты сказала уверенно «любишь» и мечтательно вздохнула.

— Вот, так я Сандро любила... Сказка это, Юлька. Только раз сказки бывают. Имя даже ему такое придумала. Такие, как он, не каждый день встречаются. Вот Борис Палыч настоящий муж: спокойный, хозяйственный. И такую дуру, как я, уважает. Это ничего, что у меня «собачки», как ты говоришь, на каждом углу привязаны. Люблю крутить, верно. Но все это не то, Юлька. Глупая я была, совсем девчонка, а на всю жизнь осталось: сказка, Сандро мой, Знаешь, я ему иногда потихоньку, как святому, молюсь.

Помню, на окне белый снег лежал, галка на ведро прыгнула... Помню, как спросила:

— Тамань, а как звали Сандро?

— Александр Басманов, подхорунжий...

«Чорт меня знает, почему... Кобылу выменять хотел... Рыжий мячик... Пари...» Галка долбила клювом рыжее от ржавчины ведро.

Александр Басманов, Сандро, сказка... Молишься, Тамань?

— Вот рассказала, а как зовут его, Юлька?

— Не знаю.

— Не зная?

— Не . . . зная.

* * *

Туманные тают дали. Волна за волной бежит. На скалах чайки кричали, и с чайкой вместе — Ингрид. Вернется ли он? Едва ли . . . А сердце болит, болит . . .

Вода весной зеленее, и неба цвет зеленей. Придет ли Олаф за нею, вернется ли рыцарь к ней? А сердце бьется сильнее, и пламенней, и нежней.

Проходят весны и зимы, проходит за годом год: Олафа звонкое имя в душе она бережет. Обычай зимой старинный принцесса свято блюдет. Когда по снегам глубоким приходит ночь Рождества, и звезды в небе высоком сияют для торжества — мы вспомним о всех далеких— они нас вспомнят едва . . .

У тех, кто дома остался — какой бы ни был их дом — за тех, кто с ними расстался — свеча пылает огнем. А кто уйдя, не прощался — помолимся и о нем!

Обычай блюдется свято: в Сочельник свечу зажечь — за сына, отца и брата у елки будет гореть.

А тем, кому нет возврата — то в сердце не умереть!

* * *

«Одно из шестнадцати» — говорили в Одессе. Не из шестнадцати, а из ста фантастических планов, мучивших меня и днем и ночью. Сказать, что Сандро — Александр Басманов, таинственный незнакомец, который . . . «Промененная лошадь, рыжая девчонка» . . . Разбить твою иконку, Тамань? Зачем? Чтобы показать тебе, что вообще не стоит молиться?

Ничего не сказать, а просто познакомить? Что же тогда? Сама разобьешь свою иконку — или полюбишь снова? А Борис Палыч, а Нина, а налаженная, идущая жизнь. Ради чего? Ради человека, который — о, это я знаю наверное — тебя никогда не полюбит? Ты была хороша в степи, шалая девчонка, с наганом за поясом, для мальчишки, подхваченного тем же сумасшедшим вихрем.

Теперь это слегка усталый, слегка циничный и давно уже взрослый человек. Для него нужно быть или элегантной женщиной, или, по крайней мере, знать, что такое кватроченто. А то, что сердце твое, Тамань, билось гордым, сумасшедшим ветром, подлинной человеческой кровью, и глаза раскрывались навстречу солнцу — этого он никогда не видел.

А если не зачем, а «потому»? Потому что я люблю его и хочу, чтобы . . .

Через три дня я была на том же перепутьи. Не пошла на свиданье, не ответила на письмо. Через неделю вечером у меня его величество Случай: я мерзла на диване, засунув ноги под кота, ты сидела рядом. Вошел Александр. Ты, конечно, не расслышала его фамилии, и . . . вы не узнали друг друга.

Больно это, Тамань.

* * *

— Вы себе представляете, как сложатся наши отношения в дальнейшем?

О да, это я представляла себе. Плакала, а представляла!

— Очень просто: вы человек свободный, я тоже. Никаких ограничений наших свобод, никаких обязательств. Вы нравитесь мне, я вам. Значит . . . надеюсь, что это достаточно «современно».

Странно, у него глаза стали серьезными и как будто ушедшими в себя, как тогда, когда я говорила о сказке.

— А как это кончится?

— Я вам тоже напомню песенку Вертинского? «Все окончилось так нормально».

— Я этого не сказал.

— А я не буду дожидаться.

* * *

Помнишь, Тамань, иногда я приходила к тебе и буркала:

— Можно повыть для собственного удовольствия?

Конечно, если не было Бориса Палыча и Нины. Я ложилась на ковер и подвывала в подушки, а ты сочувственно громыхала в другом углу кастрюлями.

В моей комнате были слишком тонкие стенки — Господи, иногда человеку и покричать то негде!

Потом ты подойдешь, сядешь на корточки рядом, погладишь, как мать. Не выпытывала ничего, знала — не хочу говорить, — «сфинксом» ругала только.

— Тяжело, Юлька? Любишь очень? А ты послушай лучше! Ши намэ . . .

Да, любила очень. Вот, кажется, из раскрытой груди в другую вся кровь переливается: больно, жжет и вытягивается, кровоточащая эта нить. А я разорву . . . У него не может быть любви, у него никогда не было сказки, у него нет сердца. «Пряничное сердце принеси мне в подарок» . . . Пряничное сердце можно купить в магазине, и оно стоит дешевле, чем коробка конфет!

Для него у меня будут только «случайные встречи». Я не хочу дожидаться конца. Не хочу молиться на иконки и жить потом осколками. Буду мучиться, и он этого не увидит. Разорву нить, и он даже не узнает о ней. И я его так люблю, что мне, кажется, так и будет действительно лучше, хотя бы ради не моей, а твоей иконки.

Если бы только не этот иногда странный, чуть вопросительный взгляд . . .

* * *

В нескольких строчках — несколько лет. Встречи стали реже, и я — спокойней.

— Иногда, Александр, я смотрю на тебя, как на фотографию давно умершего друга в пожелтевшем альбоме. Знаешь, когда перелистываешь, остановишься вдруг, увидишь знакомое, до боли любимое лицо и улыбнешься ласково: что могло бы быть, если бы... Маленькое словечко «бы».

— Я хотел тебе сказать то же самое, Юлик. Если бы...

Он слегка постарел, мы стали друзьями.

* * *

А потом? А потом вторые в нашей жизни, почти такие же сумасшедшие, дрожащие, беспорядочные, панические, почти такие же острые дни. Почти — потому что первые длились дольше. Почти — потому что от первых сохранился, протянулся через всю жизнь до этих, вторых, навис над ними туманом наш притупившийся опыт. Почти — потому что раньше мы знали: если удастся сохранить жизнь, то у нас она впереди. Что-то сможем сделать, создадим... А теперь мы знаем: разрушится немногое, что осталось, а впереди еще меньше. И нас не удивишь.

Но страх, страх, страх... Бегство. Как и раньше когда-то: кто только мог. Куда только мог. Любой ценой. Ты прибежала ко мне.

— Юлька, что делать? Надо доехать хотя бы до границы. Пока идут поезда. Там как-нибудь переберемся. Бог поможет. Пожалуй, ведь ты знаешь, Борис Плаыч... Стоит только войти сюда, как его убьют...

Я знала: Борису Палычу нельзя оставаться. Правда, теперь он был простым рабочим, но... В такие дни люди становятся акробатами. Печати, документы, визы, деньги — все берется, неизвестно откуда, и летит, неизвестно куда. Во время гражданской у каждого порядочного человека бывало по несколько паспортов.

* * *

— Мне нужно поговорить с тобой, Александр.

— Я только что звонил тебе, Иолик.

— Уезжаешь?

— Конечно. На днях. Именно поэтому. Положение очень серьезно, надежд никаких. Город продержится недолго. Все посольство уезжает. Ты должна ехать, Иолик.

— В качестве посланницы?

— Нет, в качестве моей жены. Не забудь, что я давно разведен после второго брака. Я секретарь посольства, и этого достаточно, чтобы провезти не только тебя, но и твоего кота на придачу. Обвенчаться недолго. Разумеется, я не хочу ничем стеснять твоей свободы. Ведь так мы, кажется, условились. Брак фиктивный — или такой, как ты захочешь . . .

Раньше он иногда говорил мне: «в сущности, я бы мог жениться на тебе» . . . И я отвечала: «В сущности, я была бы для тебя очень удобной женой» . . .

Сейчас мне хотелось просто броситься ему на шею и плакать. Кажется, он заметил это.

— Ты поражена, Иолик? Не ожидала от меня такого . . .

— Рыцарства?. Признаться, нет . . .

— Жаль, значит, ты многого не замечала.

— Да . . . Жаль. Может быть, и ты не был достаточно проницателен? Но теперь, пожалуй, поздно, Александр. Я пришла к тебе с такой же просьбой, только наоборот. Мне нужно спасти человека. Женщину с мужем и ребенком. Если они останутся здесь, их убьют. Других путей у меня нет. Только ты можешь помочь мне. Ты должен это сделать, потому что я первый раз за все время прошу тебя оказать мне услугу. Помнишь, ты дал мне право потребовать полцарства? На том балу, на котором мы не были, за ту сказку, которую ты мне действительно дал?

— За сознание, что я дал человеку больше, чем у меня было. . . тогда.

— И еще, Александр: она носит твое имя, и это значительно упрощает дело. Ведь, не можешь же ты жениться и увезти мужа твоей жены? По счастливой случайности произошла путаница, да и кто тогда обращал внимание ... У нее пропущена девичья фамилия и в паспорте только две: теперешняя и первого мужа.

— Как ее зовут?

— Тамара Николаевна Басманова. «Рыжая девчонка». «Пари на кобылу». Впрочем, она уже далеко не девчонка, у нее нечего менять, она давно перестала красить волосы хенной и ручаюсь, не наделает тебе хлопот. Ей надо только добраться до Америки — там родные.

Я редко видела более ошеломленного дипломата.

— Тамань? Здесь? Замужем, с ребенком? Но причем тут ты?

— Я не институтка, чтобы обожать подруг, но дом, Тамань — мой единственный дом, и сама она, моя киргизочка — единственный родной человек. Больше у меня никого нет. А то, что она до сих пор не читала Шекспира и способна спутать Лукрецию с луком — для меня совершенно безразлично и даже трогательно. Она научила меня многому поважнее, чем история стилей: ценить рыцарство, Александр.

— Но, может быть, найдется какой-нибудь другой выход... Почему ты раньше ничего не говорила?

— Других путей нет. Поверь, я обратилась к тебе последнему, хотя ты можешь больше всех. Я ... мне было это очень тяжело. А не говорила потому, что, во-первых, ты довольно пренебрежительно отзывался о ней в самом начале, рассказывая кое-что из своей жизни. Ты был очень рад своему «вдовству». А во-вторых, вы встретились однажды у меня и не узнали друг друга. Разве ты хотел бы знать раньше? Кажется, и сейчас то не очень рад этому.

— Признаться откровенно, да. Когда люди сходятся на несколько недель, буквально в седле и расходятся потом на всю жизнь ... Через столько лет, понятно — ничего общего. Ребенок, надеюсь, не мой?

— К счастью, не твой.

— Все-таки это очень сложно... У нее есть, по крайней мере, деньги? Не для документов, конечно... на проезд.

— Будут.

— А она знает о твоей просьбе?

— Она знает только, что у нее тоже никого нет, кроме меня.

— Но в конце концов, Иолик... Я хочу увезти тебя. Все это делает тебе честь, конечно,... Я даже рад, потому что ты оказалась именно такою, как я думал... Значит, только сбивалась иногда на другой тон. Но, ведь, это ты, ты! Называй меня эгоистом, если не понимаешь. Через неделю здесь будет ад на земле и на небе. Я могу взять только одного человека и должен увезти тебя. Мы найдем какой-нибудь другой выход твоей подруги. Я не могу считать ее своей женой, никогда не считал. Мальчишеская выходка. Если она взрослый человек, то должна думать точно так же. А я должен думать о тебе. Пойми же, что нас связывают не несколько недель, а несколько лет. Иногда мне кажется, что я тебя совершенно не понимаю. Ну, хорошо, свободная любовь... Но, ведь, ты была девушкой. И за все это время у тебя не было никого другого. Ничего серьезного во всяком случае. Правда, у нас не было и обязательств, но разве это не обязывает само по себе? Разве ты... повторяю еще раз: я хочу увезти тебя и увезу, как бы ты ни смотрела потом на наш брак. Это уж твое дело, если только...

— Если только?

Неужели на свете бывают действительно волшебные вещи? Неужели у этого человека нашлось для меня не только пряничное сердце, галантный пустяк? Нет, не пустяк, а сказка, настоящая сказка? Неужели он любит, он, никого не любивший? Мелочный, эгоист, циник, усталый, все перевидевший человек все-таки может любить и любил все время? Этот странный взгляд по временам — серьезный, ушедший вглубь — Александр!

— Если ты только не любишь другого.

То, о чем я мечтала столько лет... Сколько лет пытки, выжигания в себе имени, которое поет? Александр! И сейчас, после стольких безрадостных лет, — хотя нет, не безрадостных, потому что даже так любить — хорошо... Из ада, который здесь будет, который уже здесь, в панике обезумевшего города, — в чужую, но и в далекую, залитую солнцем страну — с ним.

А, может быть, я жгла слишком долго? Может быть, тоска не дает крыльев? Может быть, это только вспышка? Нет, правда. А если правда, то...

— Ты не можешь любить никого другого, иначе я не был бы я. А что касается Тамань...

Тамань! Маленькая пичужка, бьющаяся сейчас над своим гнездом. Тамань, маленький родной огонек. Тамань, верившая в меня так, как верила когда-то в Сандро. Даже больше. Названная сестра. Значит — давить и мять? Разбивать иконки? Растаптывать, потому что вдруг поверилось в счастье? Или быть недостаточно сильной, чтобы снести и то и другое?

На малахитовой чернильнице лежала узкая, как будто ученическая ручка. Я взяла ее, переложила куда-то и, кажется, сломала кончик пера. На пальце осталось маленькое чернильное пятно и задрожала красная капелька. Тамань сейчас схватила бы йод и была бы уверена, что заражение крови мне обеспечено. Это у нее уживалось с любимым наганом.

— Да, Александр, я люблю другого и поэтому остаюсь.

* * *

За днем проходили годы: зима сменяла весну... Олаф, молодой и гордый, на Юге выбрал жену. Но вспомнил родные фиорды, свою родную страну. Корабль его снова птицей в обратный несется путь, домой торопится рыцарь, и ветер вздымает грудь... А Ингрид? Ну что-ж... смирится... Забудется... Как-нибудь!

Ахой! В рождественский вечер на берег бы кинуть мост!
Ахой! Хоть зажгли бы свечи! На небе не видно звезд.

Ахой! Им ответил ветер. Сорвался, завыл норд-ост.

* * *

Раз в год приходит Сочельник, а ждать его — долгий срок.

В старинном замке, у ели, зажгла Ингрид огонек — пусть светит среди метели для тех, кому путь далек!

Трещат в камине поленья... причудлив узор углей... напрасны ль ее сомненья? Забыл ли Олаф о ней? Вдруг слышит внизу волненье — кричат у самых дверей:

— О, Боже, какая буря! Кругом не видно ни зги! У берега гибнут люди — им, Господи, помоги! Что будет теперь? Что будет? Костры скорее, костры!

Но ветер несется низко и тушит огонь костров... Корабль у камней слишком близко — не видно во тьме берегов... И буря с воем и свистом несет клочки парусов.

Но сердце принцессы знает — Олаф подает ей знак. Олаф во тьме погибает, и надо рассеять мрак. Свечу Ингрид заслоняет — свеча ей будет маяк.

Все выше и выше по скалам карабкается огонек...

— Как мал он — внизу сказали — у свечки недолог срок... Заметят его едва-ли... Поможет им только Бог!

Но Бог чудеса свершает нередко — в сердцах людей... Огонь на скале пылает все ярче и все сильней... Маяк им путь освещает средь бури и средь камней! Огонь пылает в утесах, а с моря песня звенит! Горят золотые косы, горит принцесса Ингрид. На берег кинуты тросы — а факел живой горит!

В фиордах чайки кричали: корабль не пошел ко дну! На берег брошены тали, выносит рыщарь жену...

А на скале разметали оставшуюся золу.

* * *

Дни? Тогда не было дней. Ночей тоже. Время ринулось стремглав и остановилось.

Твое недоуменное лицо, Тамань, вопросы без ответов... Потом, когда-нибудь потом... Посольство, документы, визы, чемоданы, кавардак на полу. Моя оранжевая степь, под которой на корточках внизу у стены ты раскачивалась со своим Ши намэ? — сорвалась и повисла под косым углом. Второпях, Тамань, ты ее забыла. В такие дни, говорят, ценятся настоящие люди и... настоящие металлы. Золото, во всяком случае, в цене. Я продала папин золотой портсигар — подарок какой-то высочайшей особы за удачный портрет. Больше у меня ничего не было. Но теперь нет ни папы, ни особы, ни портрета. А мне он не нужен.

Тебе я сказала, что посольство провозит даром. Ты могла поверить тогда, чему угодно. Деньги принесла Александру от тебя.

Чужие лица, чужие советы, просьбы, обещания, слезы... Лицо Александра тоже стало чужим. Отделенным от него самого, как на портрете.

Ты тащила меня с собой, уговаривала о чем-то хлопотать, подделать какие-то документы. Все это как-то цеплялось одно за другое, как снежные хлопья в метель. Я уверила тебя, что непременно уеду и, действительно, собралась. Нашлись знакомые, помогли.

Вы улетали на аэроплане до ближайшей гавани. Потом океан. Помню только туман, моросящую сетку дождя, дрогнувшую улыбку Александра. Кажется, он хотел что-то сказать, может быть — самое важное. А ты нахохлилась под дождем. Смущенно топал Борис Палыч, вздрагивающим цыпленком сжалась Нина. Пичужки мои!

Как все это расплывчато, скомкано, бесформенно. Последние дни, последние минуты... Навсегда ведь, навсегда — и вот — ничего не помню...

И опять туман, мокрая палуба дрянного пароходишки. К этой палубе пробиралась через лязг буферов, автомобили и

просто канавы. Стальные шлемы, штыки, как будто подземный гул. Совсем уже близко...

Море, холодное и чужое. Туман. Может быть, ты сейчас тоже плывешь по такому же. Почему мы не могли быть вместе? Почему Александр... А другие? Тысячи других умирают сейчас, мечутся... Больно... Прощай, Тамань. Хотя все равно не услышишь. Но в этот туман, по крайней мере, можно кричать по хрипоты:

— А-ле-ксандр...

* * *

Но Север хранит преданье, застывшие звоны саг, и в море знают преданье о том, как горел маяк. В любви же — всегда страданье, и это должно быть так.

С тех пор в Сочельник матросам, плывущим к стране родной, внезапно блистал в утесах огонь — маяк золотой. Горят золотые косы, и видит путь рулевой. Пусть буря волну вздымает, и небо темно без звезд, и пусть паруса срывает жестоким бичем норд-ост — тем ярче во тьме сияет горящее пламя кос!

* * *

Прощай, Тамань. Теперь я рассказала тебе все — чего ты не знала. Прости, если это жестоко — себя я не щадила тоже. Если я отошлю тебе это письмо, оно будет, наверно, последним настоящим письмом. Останутся открытки на Пасху и Рождество. Прожили мы вместе очень много, вспоминать не к чему, а увидеться нам не придется больше. Забыть только не сможем.

Я знаю, ты живешь сейчас в большом белом доме на ферме. Помнишь, как мы собирались строить вместе мой белый дом с колоннами? Колонн у тебя, правда, нет, но зато много ванн. Твоя тетка, по нашим понятиям, состоятельная женщина. Я очень рада за тебя, Тамань. В какой-нибудь из комнат этого дома ты разостлала свой коврик, нашила много по-

душек и поешь «Ши намэ» . . . А в окне белый снег и комната от этого кажется высокой и белой, а ты себе — чужой и далекой Всему: и тому, что было, и тому, что есть.

Борис Палыч с довольным видом копошится на ферме. Куда как сподручней чужогог садоводства, а дело привычное! А Ниночка через несколько лет вырастет американской герл с глазами тургеневской девушки. Будет лихо править автомобилем и флиртовать с Джонами.

Я никогда не приеду к тебе, Тамань. Как все это случилось? Ты не понимаешь, а ведь это так просто. Жила в чужом городе. Подрисовывала на жизнь. Ничего не хотелось. Викинг был там же, на курсах. Случайно встретились. Викингом назвала за простую целеустремленность. Викинги, Тамань, были простые и сильные люди. Они садились в утлые лодчонки и карабкались с волны на волну до каких угодно берегов.

Эти люди знают, что такое туманы и пена. И больше им ничего не надо. Они умеют побороть море. А мы знаем только, что оно топит корабли и что вода проходит между пальцев и от нее ничего не остается — как и жизнь.

Мой викинг — школьный учитель в бедном прибрежном поселке. Тут рыбачил его дед и прадед. И теперь я тоже живу здесь.

У Викинга — холодные, как талый снег, глаза и твердые руки. Он мне непонятен и чужд. Я ему тоже. Почему он меня любит? Наверно, потому, что здесь даже цветы без запаха. И приятно сознание мужского превосходства.

Я не возражаю. Я люблю лежать за его спиной у печки, комочком, чтобы было тепло и чувствовать себя маленькой, никому ненужной, кроме этого сильного большого человека. И когда он меня целует, я знаю, что это действительно так. А когда брожу одна по этому унылому дому, где каждая вещь раздирает меня возмущением, я знаю, что я здесь такая же чужая, как ты у себя. Только по-иному. Днем — холодный туман. Вечером — дремотное тепло. И ни в какие Америки мне больше не ехать, Тамань. Не потому, что нуж-

ны визы и деньги, а потому, ни своей, ни чужих жизней я больше ломать не буду. И ни к чему, и устала.

Если бы ты читала когда-нибудь Шекспира... « . . . вы боги, а мы и для людей — душой убоги».

Нужно иметь мужество сознаваться, Тамань. Я сознаюсь, что у меня ничего не вышло. Не было таланта — только казалось так. Из жизни я тоже делала картинки. Не сумела ни дать, ни взять.

Холодно, Тамань. Кажется, вот уже совсем закуталась в ватный туман. Ничего не вижу и видеть не хочу, не слышу и не кричу, а вот . . . от твоего письма захотелось кричать.

«. . . Я часто вижусь с Александром. Мы стали хорошими друзьями и говорим о тебе. Как он тебя любил! Почему. . ?»

Сперва, конечно, мелочь: «Пряничное сердце принеси мне в подарок». . . значит, это ты прислала мне тогда пряничное сердце. Ты хотела обрадовать, увлечь, дать сказку . . . и дала. Странно, смешно и немножко больно. Но, пожалуй, я все-таки была права: если в мире бывают волшебные вещи, то это пряничное сердце было тем более одной из них. И значит, я тоже оказалась права, но только в последнюю минуту. Александр меня действительно любил, так любил. . .

Поздно, Тамань.

Говорят, что в жизни каждого человека бывает четверть часа счастья. Надо только знать — когда. Большей частью об этом знают только боги. Потом они смеются. Об этом тоже писалось в книгах.

Спасибо за все, хорошая моя.

Есть старинный скандинавский обычай: в Сочельник перед елкой зажигать отдельные свечи. За тех и тех, кто не с нами. Я зажгла сейчас елку и поставила на стол две свечи: тебе и Александру. Сделай то же в следующее Рождество, Тамань. И . . . скажи Александру. Рождество, ведь, у нас будет одним и тем же — ночь и снег.

Прощай, Тамань. Прощай . . .

* * *

Сурово пенится море, бросает и бьет корабли... Не сладко размыкать горе по далям чужой земли... Ушедших печальна доля, и тех, кто дома — одни. Мы все не помним о Боге и не зажигаем свеч; мы все — душою убоги, и ноша тяжка для плеч, в конце же какой дороги придется усталым лечь? Нам всем суждено проститься, но многим возврата нет, корабль — легкокрылая птица, его не заметен след. Пусть сказок шуршат страницы, горит в них нетленный свет.

Рождественский белый вечер, печальные звоны саг... Тоскует сердце по встрече, а сердце — великий маг... И мы зажигаем свечи — и верим— разгонят мрак. И тем, кто изведал дали... И тем, кому нет пути... И тем, кто уйдя в печали, не мог дорогу найти. Тем даже, кто так устали, что вряд ли смогли дойти. И нам, отдавшим немного — а много ль осталось дней? Пошли, Господь, из чертога свечу от Твоих огней! И пусть хоть в этом сказанье, в осколке звенящих саг любовь нам светит страданьем, а это великий маг. Ушедшим — воспоминаньем засвестит во тьме маяк.

Норд-ост под окном стучится, на стеклах туман разлит, и ночь, как замерзшая птица, в глубоком снегу лежит... В Сочельник нам должен сниться маяк Золотой Ингрид!

1939 г. Рига.

СНЕЖНОЕ КРУЖЕВО

Старый год свой круг кончает. Так немного дней осталось. И в Сочельник, в синий вечер, зажигаем много свеч... Пусть же все тревоги наши и печали, и усталость в этот вечер станут ношей, незаметною для плеч. Раз в году нам нужно чудо: тает снег в застывших душах... Тают в сердце все осколки остро ломаного льда... Раз Сочельник — надо елку. А под елкой — сказки слушать, — все равно, про то, что было, иль не будет никогда... Все хотят в Сочельник сказку: и ее нельзя стыдиться, и нельзя над ней смеяться:

— Мол, не дети — я и вы...

Был Сочельник. В древнем небе начала звезда светиться, и пошли за этой сказкой очень мудрые волхвы... Ну, а мы — простые люди, — только ждем от жизни чуда, и случается — без чуда — так же бедно умереть... Сказки в жизни есть и будут, и разбросаны повсюду — очень многое зависит от того, как посмотреть... Раз в году придет Сочельник: белый снег и синий вечер. И в высоком синем небе загорается звезда... Мы усядемся под елку и зажжем на елке свечи — и послушаем о сказках, что бывают иногда. И с улыбкой встретим гостя, кто придет на этот праздник — по заснеженным дорогам — прибежит на огонек... Вот уже раскрылись двери, и просунул гном проказник в щелку двери мухоморный, ярко красный колпачок. Целый год живет под стрехой иль под лестницей ютится, в Старом городе, где много закоулков — старый гном. Но в Сочельник в чьи он двери у порога постучится — принесет с собою сказку и улыбку в этот дом... Он усядется под елку очень важно грызть орехи. Непременно золотые! Для него и их не жаль!

И в улыбке этой гнома и в его лукавом смехе улыбнется наше сердце и растворится печаль...

— Расскажи, веселый гномик, мы теперь собрались вместе — ты ж молчишь и только хитро улыбаешься едва... Расскажи под елкой сказку о чудесном королевстве, где плела одна принцесса из снежинок кружева...

* * *

— Это было в королевстве — может, близком или дальнем — и такой он был хрустальный, что глазам на солнце даже было больно разглядеть. Но зимой над этим замком солнце вовсе не сверкало: только падали снежинки — шел неслышный, мягкий снег... И под этим серым небом из жемчужного опала было столько звезд пушистых, что не счесть их и вовек. Но, однако, был приставлен для пушинок серебристых очень старый, очень мудрый, очень строгий Звездочет: всем снежинкам в королевстве — сколько было звезд пушистых, неуклонно, неустанно бесконечный вел он счет. Для того же это было в королевстве заведенье, чтоб не смели потеряться звезды белые никак: королевством этим правил, всем другим на удивленье, сам усердный этот счетчик, звездочет — великий маг.

А принцесса в башне замка из хрусталиков лучистых так была сама прекрасна, что бледнеют все слова... И она и днем и ночью из снежинок серебристых ткала нежные узоры, из снежинок—кружева. Потому что королевство было бедно, как ни странно, а принцессам, даже в сказках и живущим в хрустале, перед тем, как выйти замуж, нужно думать о приданом — так устроено на нашей, неустроенной земле!

* * *

На этом перекрестке всегда приходится ждать, пока пронесется вереница покатых, матовых от мороза и как будто очкастых от громадных колес автомобилей. Турка стоит и

слегка поджимает то одну, то другую ногу, как журавль. Не то, что бы холодно, а так, от скуки.

На другом углу небольшой деревянный дом с черепичной крышей. Верхний этаж меньше нижнего и отходит накатом. Теперь черепицы почти не видно, на ней толстый слой снега, и весь дом укутан, как игрушечный — в вату. Внизу кондитерская, там тоже снег, очень блестящий, и толстые коричневые пряники. Наверху окошко с оранжевым абажуром, и приятно думать, что в этом пряничном доме живет кто-то, очень тепло и уютно, и готовится к Рождеству.

Турка оглядывает пакеты — не потеряла ли? нет, все здесь. Пряники, конфеты, свечки, книжки Веселке, грелка и туфли. Ей вдруг приходит в голову, что в сущности она сама представляет собой сейчас настоящую предпраздничную картинку: шубка в снежинках, шапочка набекрень, руки полны покупок. Может быть, даже кто-нибудь позавидует ей. И уж, наверно, никому в голову не придет, что у нее на душе нет никакого Рождества. Как будто не она сама идет домой, а кто-то другой, а она смотрит сбоку и удивляется: пусто и холодно все, и Сочельник кажется таким безнадежным и тусклым.

Дома на всех столах пакеты, беспорядок, и неизвестно, за что сперва браться. Турка живет с братьями. Веселка вернулся со школьной елки и пожирает вместо обеда, конфеты из полученного мешочка. Старший брат лежит в кровати и только вздыхает:

— Угораздило же меня на самые праздники . . . и ничем не могу тебе помочь, — повернуться больно.

Бедный Ивась! А если бы он знал, что Турка приготовила ему подарок — его долгожданные лыжи. Сколько лет он мечтал о них! Как только выпадет снег, вспоминал со вздохом детство, с завистью смотрел вслед каждому лыжнику с палками на плече. В этом году Турке удалось купить по случаю, через знакомого, чудесные дорогие лыжи. А у Ивася мучительный и затяжной прострел.

* * *

То, что на следующее утро еле-еле удалось получить приличную елку, нисколько не удивило Турку. Елка корявая, Рождество тоже... да и чего ей собственно ждать? Самое главное, что ждать нечего.

А, может быть, она просто неблагодарна? Теперь, слава Богу, и у нее, и у Ивася есть хорошее место. На этот раз в Сочельник она может приготовить все, как когда-то делала мам... и кутью, и настоящий королевский пирог. И окорок есть, а елка, когда повесила на нее все побрякушки, стала красивой, да и вся квартирка пахнет праздником. Словом, все есть, что нужно, что полагается быть, только...

Только чего то нет, и от этого все становится обыденным, сереньким и скучным.

К сестре она сама поедет завтра с Веселкой, сестра живет на ферме, полтора часа езды от города по железной дороге. Сегодня вечером придут товарищи Ивася — из театра, бездомные, встретить Сочельник, а единственный человек, которого она действительно могла бы ждать, не придет — ни сегодня, ни завтра, вообще никогда больше... Да, если бы он пришел — тогда все было бы иначе.

Но это так невозможно, что глупо даже и мечтать...

Турка яростно трет в миске мак. И как только мама деделала Маковое молоко. Сколько она ни трет его с сахаром — ничего не получается.

— Ты обдай водой, — советует Ивась, который тоже тер полчаса и ему надоело.

— Обдала..., — уныло ворчит Турка из кухни.

— Ну и что же получилось? Молоко?

— Никакое молоко, а просто серая водица. Только что маком пахнет... Постой, я придумала!

Турка вдохновенно хватает бутылку со сливками и выливает в маковую жижу. Вот теперь у нее получилось молоко. Правда, кутья должна быть постная, но... кто там заметит? А со сливками даже гораздо вкуснее.

— И все равно никто твоей кутьи есть не будет, — убежденно замечает Ивась. — Ты лучше наливку как следует приготовь... покрепче.

— Собственно говоря, — ввертывает Веселка, слегка подковыривая только что вынутый пирог, — во всех порядочных домах садятся за стол в Сочельник «со звездой». Я читал об этом. Как только зажигается в небе звезда — сейчас же за стол — и елку...

— Еще чего выдумал! У тебя яблоки повешены уже? А свечки? А золотой дождь? Перестань ковырять пирог, поганый мальчишка!

— Собственно говоря, мы еще сегодня не обедали...

— Никто в Сочельник не обедает. Поститься надо. На хлебе и воде, да... А что касается звезды — то такие обычаи...

— Обычай — это народная мудрость.

— Ты бы помолчал, болящий! Эти обычаи хорошо было выдумывать тогда, когда был полон дом прислуги. А где тут мне и на службу поспеть, и со всем управиться, все в последний день, а еще пожалуйте — до звезды! Веселка, если ты сейчас же не уберешься из кухни, я пущу в тебя ложкой!

Но Веселка услужливо подхватил какую-то миску с остатками винегрета и удрал в комнату Ивася. Оттуда доносится сугубое чмоканье. Турка хочет погнаться за ним, но во время спохватывается: королевский пирог! Вот как раз, когда Веселки нет в кухне, и надо засунуть монету в тесто, что бы не знал, где...

* * *

Все кончено. В комнатах блестят полы, на окнах застыли накрахмаленные занавески, топорщится парадная скатерть, уютно разложились подушки на диване. Елка убрана и ждет первых огней. Кутья в самой лучшей вазочке водво-

рена на маленький столик со сладостями. Турка щедрой рукой высыпает на блюдо пряники и орехи. Самое главное, конечно, — это королевский пирог посередине, с аппетитной коричневой корочкой, а кругом — картонные городки, оклеенные золотой бумагой, корона.

— Собственно говоря, я уверен, что буду королем, — мечтательно вздыхает Веселка. — И тогда я завтра куплю лимонаду . . . много-много.

— Лимонад на Рождество! — устало фыркает Турка. — Она только что переоделась и устало присела на диван передохнуть немного. Приятно все таки оглянуться кругом в канун праздника.

— До сих пор ты была похожа на настоящую замарашку — Золушку, а теперь на добрую фею, — критически оглядывает ее Веселка. — Хотя доброй тебя назвать нельзя. Конфет купила много, а в вазочку положила только на один хап.

— Веселка, если ты действительно хапнешь все сразу, да еще до елки, то я, ей Богу, заплачу.

— Ну — ну, не сердись. Я тоже, слава Богу, не маленький. Мне уже четырнадцать лет, и я знаю пракрасно, что можно, чего нельзя . . .

— Да, если бы ты знал . . .

— А теперь надевай свои меха и отправимся в церковь. Туда и обратно на извозчике. С бубенчиками. И я встану на запятки.

— Ты думаешь, что я такая толстая, что на санках больше не будет места?

— Нет, но всем прекрасным дамам полагаются лакеи на запятках.

— Вы очень галантны, сударь . . . В церковь, однако, мы все-таки пойдем . . .

— А твои хвосты?

— Да, платье, пожалуй, слишком длинно. Будет задевать за боты. Веселка, в церковь мы поедем, это верно, но только на автобусе, нельзя же так много тратить денег. Ну, а обратно — уж доставим себе удовольствие . . . на санках. Только без запяток.

— Женщины никогда не понимают, в чем истинное удовольствие, — ворчит Веселка. — Ивась, ты сторожи дом. Чтобы пирогов не утащили.

— Вы помолитесь, а я пока встану кое-как и прямо в пижаме залягу на диван в столовой, — лениво отзывается Ивась. Можешь не беспокоиться, Веселка. Никто твоих пирогов не утащит, кроме тебя самого . . .

— А вдруг?

— А вдруг? — думает Турка. — Счастливый Веселка! У него это еще возможно — неожиданное, пленительное, увлекающее: «вдруг» . . . Нет, она знает, что вдруг ничего не случится . . .

* * *

После теплого ладана церкви, радостных свеч, небо с паперти кажется особенно глубоким и синим и, как пух, редко-редко промелькнет уставшая уже кружиться, воздушная снежинка.

— Вот, когда вечером в Сочельник идет снег, это я люблю, — одобряет деловитый Веселка. — Тогда чувствуется настоящий праздник. — Эй, извозчик!

Настроение меркнет и никнет с каждой минутой. Дома никого нет, кроме Ивася, который кряхтит на диване.

— Что-ж это, так и не пришел никто?

— Подождем еще немного . . .

Но уж десять часов вечера, а все еще никого нет.

— Валентин собирался притти, и Квадратик, и Левушка...

Валя сказала, что вряд-ли, но не исключается... Ну, что-ж значит, не смогли... давайте сядем за стол, не голодать же в самом деле.

Веселка очень доволен книжками, вертится, то в одну, то в другую заглянет, сидит на полу.

— Для тебя и подарка нет, Ивась. Я тебе лыжи купила, очень хорошие. Левка обещал принести, а нет ни его, ни лыж...

Ивась грустно улыбается и морщится от боли.

— Странный Сочельник, — Одиноко и тихо... Кажется, будто мы сами—в сугробе, замело нас, занесло, и только елка светится огоньком... А за порогом — глубокий снег, занесенная дорожка, и по ней никто не придет... Никто не приходит вдруг.

И вдруг...

* * *

— Расскажи, веселый гномик! Это очень интересно. Сколько лет пришлось принцессе кружева свои плести? Может быть, плетет поныне — и из девушки прелестной стала ведьмою такою — дай Бог ноги унести!

— Нет, принцессы не стареют — потому что сказки вечны. Не судите раньше срока, не дослушавши конца. Был Сочельник, очень вьюжный, и прекрасный принц, конечно, проезжавший мимо замка, постучался у дворца. Ну, а дальше — все понятно... В тот же вечер был назначен во дворце хрустальном пышный и веселый очень бал. Для того, чтоб этот рыцарь — (был красив он и удачен) на балу с самой принцессой очень много танцевал.

Но... здесь нужно отступленье: был Сочельник очень вьюжный, и снежинки опускались, поднимались, вверх и вниз и казалось, что как будто им столпиться очень нужно у окна хрустальной башни, где узорчатый карниз. И пока в хрустальный замок, для Сочельника и бала, дровосеки

притащили преогромнейшую ель — то вокруг хрустальной башни все кружила, колдовала и мела хвостом пушистым и игольчатым метель.

Собрались на эту башню все: принцесса, стройный рыцарь, и поднялся по ступенькам даже мудрый Звездочет:

— Ах, принцесса, я не знаю, что сегодня тут случится, но одно сказать я должен: потерял снежинкам счет! Я недаром называюсь Звездочетом, магом мудрым: но они летят все к башне, и не счесть веселый рой!

Улыбнулся с снисхожденьем стройный рыцарь чернокудрый, а принцесса без улыбки покачала головой.

— Я сейчас спрошу сама их!

И окно она открыла ...

— Что за шутки? Что случилось?

Но сказать смогла едва ...

Ворвалась метель на башню, завертела, закружила, и — ... снежинки утащили у принцессы кружева!!!

Бунт снежинок! Кто-б подумал! Надоело им вплетаться и плести узор принцессе, кружевную эту нить ... Но подумайте: в Сочельник — без приданого остаться ... Что же скажет пылкий рыцарь? Как же замуж выходить?

Но, однако, состоялся, тем не менее, в тот вечер у принцессы в замке пышный и веселый даже бал. Потому что принц прекрасный, плащ накинувши на плечи, преклонил одно колено и торжественно сказал:

— Не грусти, моя принцесса. Наша встреча — это чудо. Что же может быть чудесней в самый вечер Рождества? Завтра я отправлюсь дальше, и клянусь, тебе добуду и верну твои снежинки — из снежинок кружева!

Так и было: принц прекрасный в путь отправился свой дальний. Головой качал с сомненьем заскучавший Звездо-

чет... И грустит одна принцесса в своей башеньке хрустальной, и снежинок больше нету — скрылся белый хоровод.

* * *

— Расскажи, веселый гномик... Так снежинки и удрали? Очень странная забава в самый вечер Рождества!

— За петлей — другая вьется... Так и сказка... Ах, порвались, на кусочки разорвались из снежинок кружева! Но не только в королевстве, где стоял хрустальный замок,— и на всей земле был вечер: шел неслышный, белый снег... Колокольчики звенели — и на елках и у санок, — разливался по дорогам переливчатый их бег...

* * *

— Дома?

— Удивительно, но дома...

— Вставай, Гарька! Чего спишь? У всех людей Сочельник, а ты валяешься. Безобразие!

— Ничего не безобразие. Тебе, Лев, может быть, и в Сочельник море по колено, а мне итти некуда. С вами не зовите — не пойду. Опять будете в кильки окурки совать. Надоело. Идите с миром, а у меня завтра спектакль. По крайней мере, хоть просплю всю ночь.

— Не дадим, Гарька. Одевайся и идем. В семейный дом. Мы там каждый год встречаем...

— Чудаки. Да меня-ж не приглашали.

— И без приглашения можно. У них такой обычай. Кто в Сочельник в дом — почетный гость. Рады будут. Напечено, наварено, елка горит... Живо!

— Ребятишки на полу ползают, а в кресле бабушка чулок вяжет?

— А хотя бы и так. Разнообразия ради. Вот тебе и уютный Сочельник, не в холостой меблирашке.

— Да с чего вам вообще в голову пришло?

— А так, просто. Мы уже собрались. Пошли. Видишь — лыжи тащим. Подарок. Не нам собственно, а обещали принести. Я помогал покупать. Ну вот идем. Улицы такие праздничные, красивые, тихие. Бубенчики звенят. Кружево какое-то снежное мелькает, глаза порошит... Настоящее рождественское настроение. Дай, думаю зайдем к Гарьке. Если не ушел, то дома.

— Гениально.

— Ну, это ты потом скажешь. Надевай бобры. Ишь, красавец в боярской шапке. Если-б еще лет шестьдесят на плечи накинуть — без грима деда Мороза играть можешь...

Пошли.

Обдало морозной свежестью. Гарька расправил плечи, улыбнулся. Любил неожиданности. Что-то заманчивое — неизвестно куда, неизвестно зачем. А снег действительно каким-то затейливым кружевом падает — хорошо!

* * *

— Ну вот, наступил Сочельник. Сидит она одна в комнате, снег за окном...

— Как у нас, правда, Турка?

— Если хочешь слушать сказку, так не мешай. Сидит она одна и вдруг...

И вдруг в дверь постучали.

— Пришли! Пришли! Ура! — завертелся Веселка. — Турка, подбирай хвосты и иди встречать гостей.

— Чего-ж сами не входят, знают, что ждут, и без того опоздали, — ворчит Турка и выходит в переднюю.

— Пожалуйста! Давно жду!

И вот действительно «вдруг» ... На пороге совершенно незнакомый человек. Красивый, высокий, в меховой шапке, стоит и улыбается.

— Простите, меня вы, наверное, не ждали. Но они притащили и уверяют, что вы не выгоните. Сегодня Сочельник.

«Они» выворачиваются из-за его спины. С лыжами, в снегу, топочут и говорят все разом.

— Упирался, говорит, незнакомый дом. А мы думаем — веселее будет.. А, Турка? Здорово, Веселка! А где Ивась? Ну, надевай лыжи и кати с горы. Прострел, говоришь, прострелил? Турка, а как насчет пирогов? Веселка, признайся: все слопал? Один королевский остался? Ай-ай-ай! Есть мы хотим, как сорок тысяч братьев ... что братьев: волков! Хотя, если у женщины такой брат, как Веселка, то, пожалуй, один десяти волкам не уступит.. Раздевайтесь, господа, не дожидаясь приглашения. Елка-то елка какая! Очаровательная Турочка — Боже, какое длинное платье! Совсем, как на бал! Итак, вам презент: огромаднейшая шишка. Одна еловая — это для Веселки, а шоколадная — для вас. Видите, как мы галантны. Проходите, не стойте, господа. Хозяйка уже скрылась на кухне — хороший знак в этом доме, а хозяин позванивает каким-то хрусталем. С праздником!

Шум, гам, смех. Кажется, не четыре человека пришли, а восемь.

Ели, впрочем, каждый за двоих. Турка только улыбалась. Даже кутьи попробовали — с некоторой опаской: а вдруг разорвет? Наконец, под треск веселкиных хлопушек, разрезали королевский пирог. Монета попалась в куске, протянутом случайному гостю. В сказках все случайно ...

Он надел картонную корону, к великой зависти Веселки. Впрочем, тот завидовал не короне, а монете.

— Спрячу на счастье ... хороший Сочельник.

И Сочельник оказался, действительно, хорошим. В сущ-

ности для этого надо очень немного: немножко улыбки и немножко внимания. А сказка будет уже сама плести свое кружево — дальше, дальше, разворачивать узор. Хорошо жить на свете... когда есть сказки. А они — есть.

* * *

— Собственно говоря, даже сесть негде, — сказал Веселка. Они покачивались на площадке заиндевевшего вагона. — В праздники ездить куда-нибудь — прямое мученье.

— Всесветный путешественник... Подумаешь! Я, вот видишь, стою.

— Такой путешественник называется глабтротер. Ты отстала от века, Турка. А потом ты женщина. Женщины могут танцевать всю ночь напролет, а потом... а потом стоять.

— В каком это ты романе вычитал? Я тебе, кажется, таких книг не давала.

— Не вычитал, а сам додумался. А вот додумается ли Ивась, что мы поставили холодец в кладовку? Не съест, и он обратится в лед. Я его буду рубить топором и отогревать на костре. Как трапперы. Ну, чему ты улыбаешься, скажи, пожалуйста?

— Во всяком случае, не твоим трапперам...

— А больше здесь никого нет. Пойдем в вагон. Там теплее.

— Иди...

Турке не хотелось уходить с площадки. Окно в двери было совсем матовым, запорошенным снегом, и переливалось чудесным кружевным узором. Вагон раскачивало, убегали внизу с сухим повизгиваньем рельсы. И так хорошо было стоять и улыбаться — просто улыбаться вот этому снежному кружеву. Вчера был Сочельник, такой веселый. Вчера пришел настоящий святочный король Может быть, он придет снова. В сущности это неважно. Может быть, даже лучше, чтобы не приходил. Останется сказка, как искорка, и будет светить... Тепло от нее.

* * *

— Дядя Витя! Дядя Витя! Наша Турка вчера была королевой! Корона была у короля, а он дал ей. И он назначил меня пажом, и мы исполняли желанья, и поэтому вы тоже исполните, да? Турка сказала, что готовит какой-то сюрприз. Неожиданное предложение. И ни за что не говорит, что такое, я уже выпытывал. Только вы должны согласиться тоже. Согласитесь, да?

— А ты, Турка, сегодня, действительно, королевой выглядишь. Ну-ка, покажись. Вся так и светишься. Святочный король, говоришь? .. Гм ... Да, нет же, Веселка, не тормоши. Конечно, исполню.

Санки-розвальни, деревенские, с заливистыми бубенцами, и рыжая кобыла Машка бежит хорошо, рысистая, дух захватывает. Веселка держит кнут, дядя Витя поворачивается к Турке:

— Посмотри, саженый лес. Березы так аллеями и стоят. Я уж несколько дней тому назад ехал, так все смотрел. Хотелось, чтобы ты еще успела увидеть.

От сильного мороза все ветки заиндевели, и березы — сплошная серебристая дымка на бледном, чуть розовом от ранней вечерней зари на небе.

— Хорошо, Турка? Глаз не оторвать. Снежное кружево.

— Хорошо ...

* * *

В полуверсте от дома черный мохнатый Бомка с радостным визгом кидается в сани. Не забыли тебя, Бомка, привезли косточек. Лижет лицо горячим красным языком, тыкается носом в чемодан, — там много разных интересных и вкусных вещей.

— Кутью привезли тебе, Виктор. В бутылке. Сделала вчера, столько мучилась и старалась, а наши ...

— Отвернулись с гордым презрением.

— Молчи, Веселка. Не каждому мальчику в Сочельник кутью на стол ставят.

— А я давно кутьи не ел — радуется Виктор. — Все как-то забылось. Вот и разговеюсь, хоть и задним числом. А какой у меня окорок, пиво так и пенится! Ольга ждет, не дождется . . .

Дом, правда, слишком низкий, растянутый, и потолок как будто немного черноватый, и окна маловаты, но все это ничего. Важно то, что гостью встречают с радостной улыбкой — и она сама приносит улыбку, рассказы, смех.

Обедают долго. Потом зажигают елку. Пиво, действительно, пенистое, холодное, вкусное.

— Ну, а твое желание, Турка? — «нео-жиданное предложение»? — тянет дядя Виктор, передразнивая Веселку.

— А предложение вот какое: запряжем сейчас Машку возьмем с собой всякой снеди, пива, конечно, и — в лес. С песнями и колокольчиками. А в лесу зажжем елку.

— Елкv в лесу! — ахает Веселка. — Турка, ты гений! Нет до чего замечательно! Просто странно, что мне самому в голову не пришло. Едем! Дядя Витя, ты обещал, что исполнишь.

— Да и обещать нечего. С радостью даже. Одевайся, помогай запрягать.

Ночь над полями. Тихо и страшновато немного, если б не звёзды. Из хлева тянет навозным теплом.

А потом по дорогам с подкидывающими ухабами, под колокольчики — гайда!

Даже кобыла Машка бежит весело, с настроением. Мимо один лесок, другой . . . Начинается настоящий, густой, высокий лес. Весь в снегу, и снег кажется таким чистым — нигде такого нетронутого нет.

— Ловко! — вскрикивает Веселка, когда Виктор повора-

чивает кобылу, вынесшую одним махом прямо с дороги через канаву в лес. Теперь уже надо ехать шагом, выбирать дорогу, низкие от снега ветки наклоняются, цепляются, обдают морозной пылью. Молчит лес. Притаился, ждет. Что нужно этим веселым, поющим людям?

Маленькая полянка. Кругом обступили ее мохнатые, совсем старые ели, опустили ветки в сугробы.

Все встают из саней, разминают ноги, в валенках пробираются к ели. Каждый привез витой подсвечник и прикрепляет свечку. Чиркает спичка. Даже Веселка притих. На поляне зажигаются огоньки. Так тихо, что слышно, как потрескивает фитилек. Загибаются пламенные языки.

— Вот это настоящая сказка — бормочет Веселка, и все как зачарованные смотрят на елку. Ожидали — будет весело, а получилась завороженность какая-то. Даже говорить не хочется. Молча чокаются привезенным пивом, и смотрят, не отрываясь. И лес смотрит — сейчас, в этой тишине, чувствуешь его присутствие, как большого и мудрого зверя.

Свечи догорели почти до половины.

— Оставим их — тихо говорит Турка и берет в руки вожжи.

— Кому? — У Веселки глаза совсем круглые, он готов поверить сейчас всему.

— Зайчатам... Лешему... всем лесным зверям и зверюшкам. И самому лесу.

Виктор кивает головой. Понял. Берет Машку под узды и осторожно выводит ее из гущи деревьев. Медленно удаляются сани, и все сидят, обернувшись назад: между деревьями горят оставшиеся огоньки. Елка остается в лесу, и теперь он придвинулся к ней еще ближе, теперь ему самому никто не мешает смотреть, и могут высовываться из-под пушистых веток, из-под кустов любопытные мордочки, и, может быть, сам седой леший ворчливо стряхивает сугроб со своей бороды и тяжело ступает мшистыми валенками по поляне: надо посмотреть — на сказку в лесу!

* * *

— Что такое? Посмотрите! Горит!

Тяжело раскатываются на повороте сани. Две лошади — гнедая и мышастая — поводят круглыми деревенскими боками. Лесничий сдвигает на затылок меховую шапку с наушниками, присматривается осторожным и цепким, как у лесного зверя взглядом.

Браконьеры? Костер? Что такое?

Марта недовольно прищуривается. Светлые, чуть рыжеватые ресницы собираются в сборочки, поднимаются к скулам свежие румяные щеки.

— Ну вот, теперь придется делать крюк, смотреть, что там такое, а у меня и так ноги замерзли...

— Кажется, совсем близко, у самой дороги.

Роберт тоже присматривается, заинтересованный. Как красиво издали — темный лес, белый снег, как много его — и вот там, в просвете — мигающие оранжевые огоньки. И так тихо...

Лесничий повертывает лошадей. Сани бухаются в заснеженную канаву.

— Да постой, папа, я бы вылезла — морщится Марта. — Хотя только завязну в сугробе. И чего тебя тащит в самый лес?

— Не понимаю — бормочет лесник. — Что же это может быть?

Лошади вытаскивают вязнущие сани на поляну. Свечи на елке почти совсем догорели. Тихо, тихо... и никого нет.

— Кто-то зажег в лесу елку — мечтательно произносит Роберт. Привычный взгляд художника сразу схватывает все переливы, вот эту тень под елью, голубой сугроб, белую тишину.

— Пьяные, должно быть — флегматично замечает Мар-

та. — Хорошо, что мы заметили, а то еще пожару бы наделали. Ты бы, папа, узнал, кто это, и всыпал хорошенько.

Лесник вылезает из саней, подходит ближе. Нет, свечи воткнуты в подсвечники, а до самой ветки огню никак не добраться — слишком толст снег.

— Пусть уж догорят — говорит он тихо и снова берет в руки вожжи. — Позабавился кто-то, видно . . . ну что ж, ничего тут худого нет.

* * *

— Ты чего надулся, как мышь на крупу? — спрашивает Марта, разворачивая на голове шерстяной платок и отряхивая снег, прилипший к ботам. — Раздевайся скорее, иди в комнату. Сейчас согреемся, выпьем чего-нибудь, я тебе тушеной капусты с салом дам. А домашних колбас хочешь?

Он идет за ней в теплую комнату лесничего дома. Лампа с фарфоровым абажуром, стол, диван, радио, на стенах несколько его картин. Лесничий живет хорошо, ничего, что в глуши. Правда, еще чувствуется в доме, и не только чувствуется, но и стоит еще в углу старый, обитый железом сундук — символ добротного, крестьянского дома, но вот уж и картины, и радио. И Марта учится в городе. Напориста она, так же, как отец, пробьет себе дорогу в жизни. Важна заложенная сила, а коров ли доить, — или чертежи сдавать — это мелочь эпохи.

А он, может быть, совсем не созвучен эпохе со своими мечтами. «Мы последние в нашей касте и жить нам — недолгий срок» . . . Кто это сказал? Поэт один. Поэты и художники — очень уж никчемушные люди.

— На что ты уставился, Роберт? Садись за стол.

— Выпьем по чарочке, надо согреться с дороги — говорит лесничий и вынимает из буфета бутылку.

Лесник не знает, что ему делать с Робертом. Нравится ему парень — это да. Молодой такой, тихий, душа у него мягкая, глаза светлые, ясные. Старательный. В академии до-

учивается, хорошо идет, многие профессора с большой похвалой отзываются, наверно, в награду золотую медаль получит. Летом у них жил, помогал по хозяйству. Не очень ловко, но ничего, привык. А как свободная минута — в лес. Бродит, смотрит. Но Марте он не муж. Нет. Не хватает тут чего-то.

В разные стороны смотрят, как поженятся, сразу в развал пойдет. Если же Марта верх возьмет, да над ним командовать начнет, — так еще хуже. Либо уйдет Роберт, либо смирится, замолчит, да так сам и закиснет. Не ладно, а только не его, их дело. Пусть сами решают...

Роберт смотрит на старика и чувствует его мысли. Не трудно это — когда сам думаешь о том же.

— Чего еще хочешь — говорит Марта, деловито оглядывая стол — ветчины нарезать?

— Нет, спасибо, ничего не хочу...

Марта заглядывает ему через плечо. Роберт положил на стол маленький блокнот и чертит в нем что-то...

— В городе ты только и делаешь, что рисуешь, так и здесь не можешь оторваться. Я понимаю еще какой-нибудь вид красивый. А то просто елка, не понять ничего...

— Елка в лесу — тихо говорит Роберт. Он все еще видит перед собой поляну, переливы огоньков. — Ты не понимаешь...

— И понимать не собираюсь...

— Сказки не видишь.

— Да ты сумасшедший, что ли? Не пьян, кажется. В чем тут сказка и что вообще здесь такое?

— Не пьян, а... заколдован.

— Ей Богу, рехнулся. Ну довольно, брось глупости. Поел, выпил, согрелся. Старик теперь спать пошел, поздно уже,

ночь на дворе, пойдем наверх. Я тебе рядом с моей комнатой постелила...

— Не хочу, Марта.

— Не хочешь? — голубые глаза становятся сперва недоумевающими, а потом жесткими и злыми. — Это почему? Из-за каких новых бредней? Чего ж ты тогда приезжал? Или, может быть, тебя околдовала... ах так, понимаю... «она» какая-нибудь?

— Да... елка.

— Заладил! Тьфу!

* * *

Но это не было обычной ссорой влюбленных. Роберт пробыл у лесничего всего два дня, а не все праздники, как собирался, и рано утром на третий день ушел пешком на станцию. Неприятный разговор с Мартой был позади, оставалось еще чувство обиды и горечи. Но под ногами хрустел снег, в лесу пахло морозом, и чудилось, что за мохнатыми лапами елей, осторожно раздвигая их, одобрительно кивает головой. Так, сынку, так... не бери в жены не по сердцу, не по себе... Каждому свое, сынку...

— А мне — елка — радостно подумал Роберт и улыбнулся. Да, прав старый леший. Прав, потому что нет ничего лучше этого утра в лесу — разве только вечер — и снежного кружева на березе. Будто уронил его кто-то сверху, и оно зацепилось за ветки и повисло, качается, дробится в переливах. Марта не увидит его, как ни показывай. У нее другие глаза. «Мы последние в нашей касте»... ну что ж... разве из-за этого надо стараться походить на других? «и жить нам недолгий срок»... Пусть другие живут дольше. А мы и за нашу жизнь увидим столько чудес, сколько им и не приснится! «Мы — коробейники счастья, кустари задушевных строк»... Да здравствуют поэты!

* * *

— Ну-с, Робби, что же вы принесли мне сегодня!

У издателя — он же главный редактор журнала, очки на лбу,и , кажется, никогда не спускаются ниже. Он полный, добродушный, но с деловой хитрецой. К Роберту относится по отечески и вообще был бы большим меценатом, если бы не прижимистость, когда вопрос идет о гонораре. Но умеет делать и широкий жест. Его побаиваются и любят.

— Елка в лесу . . . Неплохо. Очень неплохо, молодой человек. Когда он говорит «молодой человек», это значит, что клюнуло. — Талантливо. И настроение . . . Кажется — лес, а вместе с тем — сказка. Вот это настоящая обложка для праздничного номера.

— Рождественский уже вышел — робко замечает Роберт.

— Жаль, что не принесли раньше. Неосмотрительно, молодой человек. Помните, Робби — праздники могут быть у людей. Журналисты, да и вы, художники, вместе с ними — не люди. Они должны жить авансом. Только не брать авансов, разумеется. Этого ни один издатель не любит. Но Рождество у них должно быть готово заранее, тогда, когда еще и снегом не пахнет. Читателю надо подать во-время. А как вы подадите, если мы станем делать рождественский номер в Сочельник? Ну, на этот раз я вам прощаю. Дадим в новогодний. Только уж на следующее Рождество пожалуйста — заранее.

Издатель явно в хорошем настроении.

— Сейчас мы сдадим на клише в цинкографию, а то не успеть . . . А рисунок я потом домой снесу . . . Там у меня уже кой-какая ваша коллекция есть. Станете знаменитостью — вот я и выиграл. А пока . . .

Он привычной рукой пишет чек в кассу, и Роберт радостно улыбается цифре. Этого он не ожидал. Хорошее начало нового года. Помогли ему снежинки . . . спасибо им!

* * *

— Так и думал, что сидишь у окна и мечтаешь... Вика, посмотри, что я принес. Славная штучка, а? Робби дал к новогоднему номеру. У этого парня настоящая искорка в душе. Дай Бог, чтобы не погасла. Обложка будет ничего, удачной, а, как ты думаешь?

Вика знает, что отец не ждет от нее ответа. В тайнах цинкографских красок она разбирается мало. Да ему это и не нужно. Он просто хочет чем-нибудь обрадовать ее.

— Танцевала сегодня?

— Нет. Не хочется.

— А ты потанцуй. Танцуй и учись. Порхай, как снежинки — чего тебе еще надо?

Вика незаметно вздыхает и поглубже прячется в кресле, рассматривая картинку. Хорошо просто сидеть так, закутавшись в серебристый халатик у огромного окна. Внизу видны парковые деревья, снег идет, мягкий, пушистый, отдельными звездочками. Кружатся, как будто действительно танцуют.

У Вики тонкое, чуть надменное и капризное личико восковой леди — избалованной папиной любимицы. Тонкие темные бровки. Сейчас она хмурит их, припоминает что-то, или силится угадать... Что именно? Ах, да! Вот, елка в лесу... Действительно, очень красиво. Если посмотреть подольше — кажется подступит обволакивающая тишина. А эта снежинка оторвалась от сугробных веток, падает, и сейчас закружится, как будто зазвенит... Снежинка! Да, такая простая и такая красивая звездочка. Вот что ей нужно!

Собственно она забралась с ногами в кресло специально для того, чтобы подумать. Вику пригласили выступить в театральном ревю. Вставной номер. И танцевать придется с новым актером — как его зовут? «Гарька». Да, смешно так. Высокий, красивый, умные глаза. Если совсем честно признаться самой себе, то она называет его потихоньку уже не Гарька, и не Гавриил Александрович, а просто — Гар. Так

ей больше нравится. Значит, снежинка . . . А он? Нельзя же его сделать елью.

Вика потихоньку смеется. Нет, но если надеть балахон, как у старой ветлы, руки — сучьями . . . Он сильный, он выдержит, если она «зацепится» за ветку. Они уже танцевали вместе. И этот номер будет действительно волшебным.

* * *

Номер оказался волшебным. Впрочем, не только номер.

Декорация из чего-то, совсем похожего на голубовато серебристую дымку из туманной парчи. Вика извела декоратора, но добилась настоящего «фона». В тумане — старое дерево с одинокими сучьями — как руки, протянутые к небу. И откуда-то сверху — полуслетает, полупадает белая звездочка-снежинка. Пачки из посеребренного тюля, с пушистой легкой юбочки падают искорки, как будто идет снег. Даже те из зрителей, которые понимали, что это делается при помощи крохотных зеркал и представляет простой оптический обман, с удовольствием обманывались.

Снежинка порхает, кружится по сцене, ласкается к старому дереву и оно оживает, ловит ее своими сучьями, кружится вместе с ней, а когда она, усталая, укладывается на землю — дерево, сломленное горем, падает рядом.

Цветы, апплодисменты, радостные раскланивания. Номер имел громадный успех.

* * *

— Счастливец ваш Гарька — вздохнул старый, бритый, как актер — с особенной такой синеватой выбритостью — рецензент театра.

— Да, сделал карьеру. Дочь самого крупного издателя в городе. Теперь ему можно и театр по-боку.

— Ну, это вряд ли. Она вот, по всей вероятности, бросит

танцевать. Очень мило, в особенности, когда папаша может оплачивать туалеты, декорации и чорта в стуле — но больше ничего. А он — актер и будет работать дальше. Есть над чем. Умница. И кроме того ...

— Что кроме того?

— Приятно посмотреть, знаете ли ... не в американских фильмах, а в самой нашей что ни на есть настоящей жизни, когда вот случается такое, так как то ... теплее на сердце. Со стороны пожалуй и очень просто: богатый отец, в дочери души не чает, она мечтательница, избалована, встречает юного Ромео — он ей и «ромеирует» — и на сцене и за кулисами тоже ... Ну, до романа недолго, конечно, а потом — какими-то путями удалось уже обломать папашу ... Современные девушки и не на такое способны.

— Так чего ж вам?

— Со стороны, нашим простым языком говоря, так действительно и выходит. А мне как-то случилось их вместе недавно увидеть, незаметно так: меня на этот счет не проведешь. Слава Богу, сколько времени среди вашей актерской братии обретаюсь. Я грим насквозь вижу, даже если он «летний». А у них — любовь без грима. Настоящая. Ну вот — и улыбнулся ласково, тепло, говорю, на сердце стало. Значит, случилась у какого-то человека сказка в жизни ... А это лучшее, что она может дать.

Старого рецензента никто больше не слушал. Говорившего с ним актера товарищ отозвал таинственным подмигиванием в сторону, и рецензент стоял один на пустой, голой без декораций, сцене.

Он оглянулся, усмехнулся, махнул рукой и убежденно заметил:

— А я все-таки говорю: есть сказка.

Сказку можно увидеть, даже если не знать, что все это случилось потому, что мерзнущая мечтательница рассмат-

ривала рождественскую картинку молодого художника, а он был зачарован елкой в лесу, которую зажгла девушка, улыбавшаяся отблеску сочельника — случайному гостю. Случайному, потому что если бы над улицами не летало снежное кружево... потому что его утащили снежинки!

А сказку эту можно рассказывать без конца.

* * *

— Знаешь, гномик, эта сказка — чем длиннее, тем чудесней... Всем послушать бы такую в синий вечер Рождества! Только что же было дальше? Сколько ждать пришлось принцессе, пока рыщарь принесет ей из снежинок кружева?

— Может быть, и очень долго... Может быть, и очень мало... Ведь, бывают в свете сказки, для которых нет конца... Но когда пришел Сочельник, то принцесса уже знала — что придет с метелью рыцарь, постучится у крыльца. Но... с пустыми он руками появился, как ни странно... Опечалилась принцесса, вместе с нею — Звездочет. Разве можно замуж выйти, если кружев нет в приданом, а с одним хрустальным замком вряд ли кто-нибудь возьмет...

Но на башню к ней поднялся странный рыщарь, улыбаясь:

— Нет, принцесса — не нашел я, — потерялись кружева. Утащили их снежинки, растрепали, забавляясь, — подарили людям сказки для кануна Рождества. Пусть летят кусочки кружев, мчатся в даль в пушистых хлопьях — не напрасно маг великий вел снежинкам этим счет, не напрасно ты плела их в этой башне днем и ночью, — не напрасно утащил их шаловливый хоровод... В мире две есть важных вещи: это сказка и улыбка. Остальное можно сделать и придумать как-нибудь... А кусочки твоих кружев разлетелись нитью зыбкой, заплели в узор волшебный не один тяжелый путь... И поэтому, принцесса в твоей башенке хрустальной будем вместе вить узоры, звезды снежные считать, и поэтому, принцесса, чтоб не быть тебе печальной нашу сказку из снежинок будем вместе продолжать!

* * *

Может быть, не очень много наплели из снега кружев этот рыцарь и принцесса, и премудрый Звездочет... Только новый бунт снежинок в королевстве был ненужен — потому что, ведь, снежинки прилетают каждый год.

Каждый год плетут узоры филигранной своей вязкой — и в Сочельник, в вечер синий накануне Рождества нежно тают на ресницах глаз плененных этой сказкой — и увидевших повсюду из снежинок кружева.

1939 г. Рига.

ОГЛАВЛЕНИЕ